

84P1 = Ц  
Т 86

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

И. С. ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ  
ОХОТНИКА



И. С. ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

074261

g. a.

ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН  
КІТАПХАНАЛЫҚ ЖҮЙЕ

Алма-Ата «Мектеп» 1986

Текст печатается по изданию: И. С. Тургенев. Записки охотника. М.: Правда, 1955.

Тургенев И. С.

Т86 Записки охотника: Рассказы.—Алма-Ата: Мектеп, 1986.—192 с. (серия «Школьная библиотека»).

В книгу вошли рассказы из «Записок охотника» И. С. Тургенева.

Т  $\frac{4803010101-002}{404(05)-86}$  306—86

84Р1—44

© Издательство «Мектеп», 1986.  
Оформление, состав.

## ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракич, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вываливается наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь<sup>1</sup> исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем

---

<sup>1</sup> «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов. (Прим. автора)



друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет,— прибавил он,— пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! дома Хорь?— спросил его г-н Полутыкин.

— Нет. Хорь в город уехал,— отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов.— Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!»— заметил Полутыкин. «Всё Хорьки,— подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо,— да еще не все; Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася,—

продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское череве обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феде. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а все посмотреть стоит». Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сторела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хорший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу упреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами инаете». — «Пятьдесят рублей в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!...» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог.

Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светлоголубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за баринном наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный, теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик,— сказал мне г-н Полутыкин,— усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство,— посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь,— говорил я ему,— отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Все же лучше на свободе,— заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо,— проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди,— продолжал он вполголоса, как будто про себя,— кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься?— спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме»,— подумал я.

— Нет,— сказал я вслух,— тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы!— вскричал он, поднимаясь с места,— сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумнодохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... я, наконец, задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов,— сказал он мне с улыбкой,— пойдем чай пить. Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ!— заметил я старику.

— Да,— промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара,— на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.



— И все с тобой живут?  
— Все. Сами хотят, так и живут.  
— И все женаты?  
— Вон один, пострел, не женится,— отвечал он, указывая на феду, который попрежнему прислонился к двери.— Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться?— возразил Федя,— мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь... Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!»— продолжал старик, передразнивая горничных.— Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница,— важно заметил Хорь.— Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось... А ты, батюшка, не гневись: дитятко видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь?— раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четырем позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля несколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единоедушное: у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь; например: он заговаривал кровь, испуг.

бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая.

Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился; например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овец только что скошен, стало быть, заплатит есть чем, он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние: их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задмам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла», быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают — не в городе, в город надо самим тащиться, а приедем торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а

вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно, когда он «усердствует»! Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня спрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его рассказов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело смотрит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчелы отродясь не мерли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие прерассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и

«лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скромный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом: «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирает щеку рукой, закрывает глаза и продолжает жаловаться на свою долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копаются — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

— «А что, — спросил он меня в другой раз, — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г-н Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали. Заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.



Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синее. Лесной запах усиливается; слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие, чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими, насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка: один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороха и для дробы, другой сзади — для дичи; хлопки же Ермолай доставал из собственной, повидимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье попрежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одностволь-

ное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жесто «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья,— и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и лягавая собака, по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить,— рассуждал он,— притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернув под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, притомывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благоуханной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всегда до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревов и куропаток, а впрочем, позволялось ему жить, где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дробь, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки.\*Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно

любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок,— и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст пятьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго,— и все-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудачком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе».— «А в Чаплино».— «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?»— «А там у Софрона-мужичка переночевать».— «Да ночуй здесь».— «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомойни, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»...<sup>1</sup>. Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестоко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид — и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома, а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно, а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры... Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу на берегу Исты.

<sup>1</sup> Охотникам до соловьев эти названия знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье. (Прим. автора.)

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять своими плотинами, прудами, мельницами, огородами окруженными раkitником и густыми садами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами... Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно синие волны; воздух густел, отягченный ночью влагой. Мы постукались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался силпый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». — «Пойду скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет,— говорит хозяин не велит пускать». — «Отчего не велит?» — «Да боится; вы охотники; чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие» — «Да что за вздор!» — «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». — «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете...» Он ушел, стуча сапогами.

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», — произнес он, наконец, со вздохом. Но до деревни было версты две... «Ночуем здесь,— сказал я,— на дворе; ночь теплая мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? раздался снова голос работника,— сказано, нельзя» Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка заскрипела. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. В ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник на траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам, наконец, переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочилась вода сквозь засовы плотины. Мы разложили небольшой

074261

17

ЦИТАНДЫР ЫЛГАН  
ТАПХАНАЛЫҚ ЖҮЙЕ



отиск. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать... Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину — не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти на колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиной и подкладывал щепки в огонь.

— В Желтухиной опять падеж,— говорила мельничиха,— у отца Ивана обе коровы свалились... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи?— спросил, помолчав, Ермолай.

— Живут.

— Хоть бы поросеночка мне подарили.

Мельничиха помолчала, потом вздохнула.

— С кем вы это?— спросила она.

— С барином — с костомаровским.

Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.

— Чего твой муж нас в избу не пустил?

— Боится.

— Вишь, толстый, брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!

Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,—  
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!»— прибавил он.

Мельничиха опять присела на кадку.

— А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораешь?

— Хвораю.

— Что так?

— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул,— промолвил Ермолай после небольшого молчания.— Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.

— А ко мне зайди погостить.

Арина потупила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай,— продолжал Ермолай...— Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.

А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга. — и постался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

Картофель готов-с, извольте кушать.

Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.

Давно вы эту мельницу сняли?

Второй год пошел с троицына дня.

- А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвыся голос.

- Из Белева. Он белевский мещанин.

- А ты тоже из Белева?

- Нет, я господская... была господская.

- Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная.

— Какова Зверкова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете? Была.

Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.

— Я твоего барина знаю, — продолжал я.

— Знаете? — отвечала она вполголоса и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое создание; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г-на Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четверугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми поздрями; стриженные седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и пригорно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив пожки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г-н Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мне вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперь и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может

заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что у меня за жена: кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье,— просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут дети, то, се,— ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней, как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать,— лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в манерах. Жена моя и говорит мне: «Кокó,— то есть, вы понимаете, она меня так называет,— возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Коко...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристрачивается, жалует ее, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто в ее, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем поила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без доклада ко мне в кабинет — и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?»—«Батюшка, Александр Силыч, милости прошу».—«Какой?»—«Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?»—«Я буду служить барыне по-прежнему».—«Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит».—«Маланья на мое место поступить может».—«Прошу не рассуждать!»—«Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить нечего — вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей — и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: несколько времени спустя приходит ко мне жена, в

слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое случилось?»—«Арина»... Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?»—«Петрушка лакей». Меня взорвало. Я такой человек... полумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина... ну, что ж, ну, ну, что тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Большой член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами,— ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сердца, чувства — в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г-н Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

— Давно ты замужем за мельником?— спросил я ее наконец.

— Два года.

— Что ж, разве тебе барин позволил?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелий Алексеевич.

— Кто такой?

— Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне?— прибавила Арина после небольшого молчанья.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!— закричал издали мельник. Она встала и ушла.

— Хороший человек ее муж?— спросил я Ермолая.

— Ништо.

— А дети у них есть?

— Был один, да помер.

— Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

— А не знаю. Она грамоте понимает; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

— А ты с ней давно знаком?

— Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба отселева недалече.

— И Петрушку лакея знаешь?

— Петра Васильевича? Как же, знал.

— Где он теперь?

— А в солдаты поступил.



Мы помолчали.

— Что она, кажется, нездорова?— спросил я, наконец, Ермолая.

— Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

## МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расщелины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темнозеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой — худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я взгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку. Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя препод-

добных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими более или менее полезными зданиями. В этих хоромах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный горами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставять на господский стол, за полтора верст, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской коровой, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишенной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидел я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то по крайней мере так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что состоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет,— об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барич, бригадир

Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю,— даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клетке, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился» у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня,— да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей; и все для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем пропитании — умер бы мой Степушка с голода. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича\*\*\*, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут

наметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый к самой дороге. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась на славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескоте барабков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пирует граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на долгую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, раскосово щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморгался и похал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич,— начал я,— наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да головликов штук пять... Покажь, Степка.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан?— спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку,— отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет,— заговорил Туман,— жарко больно; рыба-то вся под кусты забила, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нему два раза, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка,— продолжал он, обращаясь ко мне,— охотиться извольте?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками извольте ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не

нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псаря как следует, в порядке и всё. Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псаря на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выдти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремяна вденет, шапку с головок снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят щелкнуть, а псаря загогочат, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и поче соблюден... Ах, сорвался, азиатец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф-таки пожил на своем веку? — спросил я. Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубые лентях, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, — господи, владыко живота моего! фейверки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец с господами за одним столом кушать захотел, так и велели из сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустятся — до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко Степа. — Барин был как следует барин, — продолжал старик, закинув опять удочку, — и душа была тоже добрая. Побьет, бывало тебя, — смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Они-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще! Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европе! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие, — дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулинка ее называли; теперь она покойница, царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злоющая. По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не

одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было время прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг?— начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка,— возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается,— заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше,— пробормотал он и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелинулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крылами и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся.

— Э, Влас?— вскрикнул Туман, взглядевшись в него.— Здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михайло Савельич,— проговорил мужик, подходя к нам,— издалеча.

— Где пропадал?— спросил его Туман.

— А в Москву ходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль на барщину посадил, переселил что ли... Сын у меня умер, так мне одному теперь не справиться

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник,— прибавил мужик, помолчав,— у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк еносил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня! Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику

обязан донести... да и куда я тебя персселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почему знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла, но на маленькие и съезженные его глазки наворачивалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того...— заговорил внезапно Степушка, смешался замолчал и принялся копать в горшке.

— А к приказчику пойдешь?— продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугоря: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри,— шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? это плохо, брат Влас,— с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит,— продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин?— спросил я.

— Граф\*\*\*, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын,— отвечал Туман.— Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу,— возразил Влас.— Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка,— продолжал Туман, обращаясь ко мне,— добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почему с тягла?

— Десяносто пять рублей с тягла,— пробормотал Влас.

— Ну, вот видите: а земли самая малость, только и есть, что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали,— заметил мужик.

— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас...

## УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был не глупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь: либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, — только он ни с того ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выразаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростопель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, — должно быть, от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо, — это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего... Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупичами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременно члену Каллиошину и отправляю домой. Гляжу: стоит тележечка перед крыльцом; лошади крестьянские, пузатые, препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну,



думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, все в соображение принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутником шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водоионы, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Навстречу мне старушка, почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?»—«Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры,— перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться»,— докторская, знаете, обязанность,— и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстуру прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете,— ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успокоилась; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?»—«Ничего»,— говорит, да и отворотилась... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят остаться ночевать... я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает. «Чего вы? говорю, будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час».—«Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?»—«Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег,— только не могу заснуть,— что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю: пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь,— а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а большая лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня! «Кто это? кто это?». Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете».—«Вы доктор?»—«Доктор, доктор... Матушка ваша за

мною в город послали. И мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почивать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя. Пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня, да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так прозорно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиток, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточением понюхал табаку и на мгновение оцепенел.

— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчило. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим negliжировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крикнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, любила, что ли, меня... или нет, не то, чтобы любила... а впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет, — продолжал он с живостью, — какое любила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли.

Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите... Впрочем,— прибавил чекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством,— я, кажется, немного зарепортовался.. Этак вы ничего не поймете... а вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным:  
- Так, так-то-с. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах. Когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Как тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся... э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не даешь времени лекарству, как следует, действовать... то за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мною разговаривать, спрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать, а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой... Как это

я до сих пор вас не знала!»—«Александра Андреевна, успокойте говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... толь вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... все хорошо будет, в будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать,— прибави лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови,— что с соседям они мало водились оттого, что мелкие им не подстать приходилис а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычай но образованное было семейство,— так мне, знаете, и лестно было Из одних моих рук лекарство принимала... приподнимется, бед няжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня... сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось все хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться: а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и доверие проходит. «Что? Как?»—«Ничего-с, ниче го-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взискать нельзя: затормошила и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи все металась; наконец словно заснула, по крайней мере не шевелит ся, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?»—«Доктор, ведь я умру?»—«Помилуй бог!»—«Нет, доктор, нет, пожалуйте, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради бога, не скрывайте от меня моего положения!— а сама так скоро дышит.— Если я буду знать наверное, что я умереть должна... я вам тогда все скажу, все!»— «Александра Андреевна, помилуйте!»—«Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу... ради бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклиная вас всем, что есть святого на свете — скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради бога, скажите, я в опасности?»— «Что я вам скажу, Александра Андреевна, помилуйте!»—«Ради бога, умоляю вас!»—«Не могу скрыть от вас, Александра Андре евна,— вы точно в опасности, но бог милостив...»—«Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не страшает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...»—«Александра Андреевна, чем же я заслужил!»— «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не понимаешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах

дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж правё, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну придут — все равно: ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может я обманулась... в таком случае извините меня» — «Александра Андреевна, что вы говорите?... я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение.. мы соединимся узами, мы будем счастливы» — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастье такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с, Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня» Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрипела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибори, дескать, ее поскорей, да меня тут же... Вдруг старушка-мать шасть в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну, вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел.

«Бредит-с, говорю, жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас другое говорил и кольцо от меня принял... Что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка. разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скорого воркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх!— сказал он,— давайте-ка о чем-нибудь другом говорить или не хотите ли в преферанс по маленькой? Нашему брату, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то подстать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

## ЛЬГОВ

— Поедте-ка в Льгов,— сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай,— мы там уток настроеляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но, за неимением пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка, верст за пять от Льгова, превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостных, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: фу-у! Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-

либуй отсталый и неопытный чирок и подвергался нашим выстрелам и лишался жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну, а только даром резали свои драгоценные носы об острые края гростников.

— Нет,— промолвил, наконец, Ермолай,— дело не ладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная лягавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем, сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-делень или блё-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, небольшие карие глазки приветливо моргали, все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать,— начал он мягким и вкрадчивым голосом,— я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решил, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятностям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знается. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно; особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъяснить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и

уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком?— спросил я его.— Зубы болят?

— Нет-с,— возразил он,— это более пагубное следствие неосторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел отказать товарищу: достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир, и Ермолай оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник<sup>1</sup>,— заметил Владимир,— да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбегать к нему.

— К кому?— спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую, четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «*Ci git Théo-ophile Henri, vicomte de Blangu*»; на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху»; а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;  
Породу знатную имел он и талант.  
Супругу и семью оплакав избяну,  
Покинул родину, тиранами погранну;  
Российския страны достигнув берегов,  
Обрел на старости гостеприимный кров;  
Учил детей, родителей покоил...  
Всевышний судия его здесь успокоил.

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка?— спросил я.

— Лодка есть,— стесал он глухим и разбитым голосом,— да больно плоха.

<sup>1</sup> Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Здесь похоронен Теофиль Анри, граф Бланжи (франц.)



- А что?
- Расклеилась, да из дырьев клепки повываливались.
- Велика беда!— подхватил Ермолай.— Паклей заткнуть можно.
- Известно, можно,— подтвердил Сучок.
- Да ты кто?
- Господский рыболов.
- Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?
- Да в нашей реке и рыбы-то нету.
- Рыба не любит ржавчины болотной,— с важностью заметил мой охотник.
- Ну,— сказал я Ермолаю,— поди достань пакли и справь нам лодку, да поскорей.
- Ермолай ушел.
- А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем?— сказал я Владимиру.
- Бог милостив,— отвечал он.— Во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок.
- Да, он не глубок,— заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья,— да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины<sup>1</sup>.
- Однакоже, если трава так сильна,— заметил Владимир,— так и грести нельзя будет.
- Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду; у меня там есть шестик, а то и лопатой можно.
- Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь,— сказал Владимир.
- Оно правда, что неловко.
- Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел, для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке, руки за спиной.
- Скажи, пожалуйста,— начал я,— давно ты здесь рыбаком?
- Седьмой год пошел,— отвечал он, встрепенувшись.
- А прежде чем ты занимался?
- Прежде ездил кучером.
- Кто ж тебя из кучеров разжаловал?
- А новая барыня.
- Какая барыня?
- А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимофевна, толстая такая... немолодая.
- С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?
- А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва

---

<sup>1</sup> Глубокое место, яма в пруде или реке. (Прим. автора.)

к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял? Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». — «Кучером? ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?.. — С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. — Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду все был кучером?

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот что в прошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она-таки долгонько нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофiшенки попал.

— Во что?

— В кофiшенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время был кофiшенком?

— Нет не все время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят: я так и хожу наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят.

вот что говори,— я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убили: с лошади упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер,— меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну,— промолвил я,— видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалею. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком; доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное!— никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже! Ермолай вернулся.

— Справлена лодка,— произнес он сурово.— Ступай за шестом, ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с,— промолвил он, когда тот ушел,— совер-

шенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего -с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели на дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжело шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко пораненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника — как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старал-

ся достать убитую птицу и всем телом налег на край), нащветное судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть по привычке подражать господам, поднял шест своей кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты, пропасть!— пробормотал он, плюнув в воду,— какая оказия! А все ты, старый черт!— прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку.— Что это у тебя за лодка?

— Виноват,— пролепетал старик.

— Да и ты хорош,— продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира,— чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уж не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыбался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти метрах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!»— подумал я.

— Как нам быть?— спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не ночевать же здесь,— ответил он.— На, ты, держи ружье,— сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод,— продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод,— взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать?— спросил я его.

— Нет, не умею,— раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет,— равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствует никакой надобности переминить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с,— жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам по-

казался вечностью. Сперва мы переключивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались вверх, как говорят «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и вобрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, тут направо колдобина!» или: «Правей, тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» — грозно кричал на него Ермолай, и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и так выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табакком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимая томный вид, наклонял голову набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки растлались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледнолиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вззошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затлится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «пáрит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба.

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне неизвестные места. У ног

моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге!— подумал я,— да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо»,— и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол,— думал я про себя,— тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошениые, низкие кусты широко расстились передо мною, а за ними далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?... Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парихинские кусты!— воскликнул я наконец,— точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозная туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы: поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?»— повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желтопегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками: на дне ее торчало стоймя несколько больших белых камней,— казалось, они сполз-



лись туда для тайного совещания,— и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверек слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже несколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и, в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожждаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огня; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огня, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком,

болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейниками в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огня дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда плямя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, точно скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалев о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной, полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно

его сапоги не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были вклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый — что и говорить! а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все шурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки, губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке на его языке по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смиренхонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно шурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сильным и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один.

— А вы у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне<sup>1</sup>.  
— А разве вы на фабрику ходите?  
— Как же, ходим. Мы с братом с Авдюшкой в лисовщиках состоим<sup>2</sup>.

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал?— спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребяташки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то, чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то спущены Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось да и стало. Пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма<sup>3</sup> зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как!— промолвил Павел.— Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что,— спросил Федя,— картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула,— прибавил он, повернув

---

<sup>1</sup> «Рольней» и «черпальной» на бумажных фабриках называется то строение где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу. (Прим. автора.)

<sup>3</sup> «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. (Прим. автора.)

<sup>4</sup> Сетка, которой бумагу черпают. (Прим. автора.)

лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намеднись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился; зашел, бог знает, куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светил сильно, так сильно, явственно светит месяц — все братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая сама вся светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, знать, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты, этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человек, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчания, — да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить, он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему бычь невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился!— подхватил Ильюша.— Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки,— заметил Федя.

— Нет,— отвечал Костя,— здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стелющийся звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься — как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила!— шепнул Илья.

— Эх вы, вороны!— крикнул Павел,— чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты?— сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребята,— начал Ильюша,— что намердись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то?— спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли<sup>1</sup> водятся.

— Ну, что такое случилось? рассказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна: так — бугорочек... Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас всегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмельён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сам возьму его, что ему так пропадать»,— да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет

<sup>1</sup> По-орловскому: змеи. (Прим. автора.)

Ермил к лошади, лошадь от него таращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять, барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли: во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла при-несся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое?— спросили мальчики.

— Ничего,— отвечал Павел, махнув рукой на лошадь,— так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,— прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно поллобовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновенье. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!»— думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то?— спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью по-сматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Ильюшка, страхи рассказывал,— заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал. «Что, мол, батюшка, Иван Иванович, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил?— перебил изумленный Федя.  
— Да, спросил.  
— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?  
— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо:— разрыв-травы.— А на что тебе, батюшка, Иван Иваныч, разрыв-травы?— Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой!— заметил Федя,— мало, знать, пожил.

— Экое диво!— промолвил Костя,— я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно,— с уверенностью подхватил Ильюшка, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья...— Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь?— с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной?— перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться — ах ты, господи!— сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама?— спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымилась и пошла коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок,— налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился,— заметил Павел.— Теперь будет лететь, куда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша,— промолвил Костя,— не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть,— проговорил он наконец.



— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?<sup>1</sup>

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут,<sup>2</sup> людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша, — ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — эвто будет такой человек удивительный, который придет; а придет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне: выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофемч, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

<sup>1</sup> Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. (Прим. автора.)

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго бы ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли... Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул: «Что это?»

— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.

— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью<sup>1</sup> выходит, там ведь есть бучило<sup>2</sup>; знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза...— Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продолжал Павел,— которые так жалобно кричат.

— Лягушки! ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) Эх ее!— невольно произнес Костя,— словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли?— насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие

<sup>1</sup> Сугибель — крутой поворот в овраге. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (Прим. автора.)

видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты!— воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами,— пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась?— заметил Павел,— право!

— Не бранись: смотри, услышит,— заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что она к нам отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты?— спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку!— крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть?— сказал Федя.— Он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез,— прибавил он, прислушиваясь.

Камыши, точно раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли,— спросил Костя,— что Акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорит, прежде красавица

была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят,— продолжал Костя,— Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— Оттого самого.

— А помнишь Васю?— печально прибавил Костя.

— Какого Васю?— спросил Федя.

— А вот того, что утонул,— отвечал Костя,— в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться,— она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает,— глядь, а только уж одна Васина шапюлька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да ляжет на том месте, где он утонул; ляжет, братцы мои, да и затаит песенку,— помните, Вася-то все такую песенку певал,— вот ее-то она и затаит, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.

— А что?— торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты?— пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голосом и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты, господи! ах ты, господи!— проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...— А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пушай!— произнес Павел решительно и сел опять,— своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это?— спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрасветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость.. Недолги летние ночи!. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понутив головы... Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледносерое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землей. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и пошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редешащего тумана,— полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись

звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчишками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

## КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес,— как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задергал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханые холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге, прежде чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое?— спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела,— мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем

покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь делать?— спросил я наконец.

— Вон кто виноват!— сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам,— уж я всегда это замечал,— продолжал он,— это примета верная — встретить покойника... Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижной и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; порывавшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят,— заговорил он,— что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то его мать, а молодая — жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабы слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,— заметил я,— что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седелку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу — подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы

кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекошил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну, что?— проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты?— спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,— спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она, сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки: Юдиными прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,— сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев — никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье кошки раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке теленок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову



армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка, в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалого намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворешнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему и начал его будить...

Он поднял голову, увидел меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» — забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил, до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно щедедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело; он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете, небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого, — он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет, — прибавил он после небольшого молчания, — эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте, — промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик, — заговорил я, коснувшись до его плеча, — сделай одолжение, помоги.

— Ступай с богом! Я устал: в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки<sup>1</sup>. Тут у нас купцы рощу купили,— бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно!— радостно воскликнул я.— Прекрасно!.. пойдём.

— Дубовую ось, хорошую,— продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! мы можем на твоей тележке доехать.

— Да нет...

— Ну, пойдём,— сказал я,— пойдём, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было попоить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело... Однако при виде старика он ослабил, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек!— отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили?— спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эх!— проговорил мой кучер сквозь зубы.— Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер?— проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли?— прибавил он, указывая на нее плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега!— повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном...— Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

<sup>1</sup> Срубленное место в лесу. (Прим. автора.)

— А не знаю,— отвечал Касьян,— на чем вы поедете; разве вот на этом животике,— прибавил он со вздохом.

— На этом-то?— подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею.— Ишь,— прибавил он с укоризной,— заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке,— Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха,— прибавил он громко,— что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи, может, найдется,— отвечал Касьян, дернул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь?— заговорил он,— а?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли.— Вырубленного места было всего в версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся



Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас, наконец, войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянню-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плеса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака — и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, — все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними, медлительной вереницей, проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше, и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе? — спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил?— начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь?

— Та птица, богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно, он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?— спросил я.

— У рыбы кровь холодная,— возразил он с уверенностью, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится; рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь,— продолжал он, помолчав,— святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь,— великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно торжественный и странный.. Я не слышал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян,— начал я, не спуская глаз с его слегка покрасневшегося лица,— чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит,— промолвил он наконец,— а чтобы, то есть, промышлять — нет, ничем не промышляю. Неразумен, я больно, с мальства; работаю пока мочно, работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьез ловлю.

— Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и недолго жил, и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю,— сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах

ночью да в залесьях, в поле ночью один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже.

- И продаешь ты их?
- Отдаю добрым людям.
- А что ж ты еще делаешь?
- Как делаю?
- Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я этак не занят... Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

- Ты грамотный?
- Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.
- Что, ты семейный человек?
- Нету-ти, бессемейный.
- Что так?.. Перемерли, что ли?
- Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это все под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть.

- И родни у тебя нет?
- Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста,— начал я,— мне слышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

— Кучер твой справедливый человек,— задумчиво отвечал мне Касьян,— а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава, добрая для человека; вот подорожник тоже, об них и говорить не зазорно: чистые травки — божиин. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасет ся,— прибавил он, понизив голос.

- Ты ничего Мартыну не давал?— спросил я.

— Поздно узнал,— отвечал старик.— Да что! кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле. уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок,— словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам?— спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, царство ему небесное! Ну,

олека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь точно земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полечит, право. И солнышко на тебя светит, и бог-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакie степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых геплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев тист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца». Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя.

— Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:



«Э!— подумал я,— да он сочиняет...» Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чашу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить, как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо поглядывая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее: она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся,— кликнул старик ласково.

— Боюсь,— раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом,— ее детские ножки едва шумели по густой траве,— и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала по небольшому ее росту,— но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и пронизательный, и движенья те же... Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала?— спросил он.

— Да, грибы,— отвечала она с робкой улыбкой.

— Много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.) Э!— сказал Касьян, нагнувшись над кузовом,— да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли?— спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница,— проговорил Касьян с притворной небрежностью.— Ну, Аннушка, ступай,— прибавил он тотчас,— ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком идти!— прервал я его.— Мы бы ее довели...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдет,— возразил он тем же равнодушно ленивым голосом.— Что ей... Дойдет и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих

словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты ее так скоро отослал?— спросил я его.— Я бы у нее грибы купил...

— Да вы там все равно дома купите, когда захотите,— отвечал он мне, в первый раз употребляя слово: «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нет... какое... так...— ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, незадача моя, продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдру обернулся ко мне.

— Барин, а барин,— заговорил он,— ведь я виноват перетобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел.

— Как так?

— Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя и хороший а ничего не смог. Подумаешь, люди что, люди, а? Вот и зверь а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотча повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке, а через час я выехал оставив Касьяну немного денег, которые он сперва не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазух. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но в ожидании первого моего вопроса ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня!— бормотал он, а еще деревня! Спросил хошь квасу — и квасу нет... Ах ты, господи А вода — просто тыфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу ничего. Ну ты,— прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной,— я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать, небось... (И он ударил ее кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-н оглядывайся!...»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,— заговорил я,— что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то?— заговорил он, наконец, передернув вожжами,— Чудной человек: как есть юродивец, такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник,— в чем душа держится,— ну, а все-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил; они у него были троечные,— ну, а потом, знать, наскучило — бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался, такой беспокойный,— уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый — не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит,— а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несобразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего.

— А что, он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть,— прибавил он помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

— А что эта. нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и ослабил во весь рот.

— Хе!.. да, сродни. Она сирота: матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чаёт; девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э!— вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух.— Никак гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот, кстати, и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем за вечерело, когда мы возвратились домой.

Верстах в пятнадцати от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерялся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми,— говорит он в таком случае,— невежество, *mon cher; il faut prendre cela en considération*»<sup>1</sup>. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой», или «Что с тобою, друг мой, опомнись»; причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен шеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо шурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечно-го жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыка он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Лючии и Сомнамбулы тоже помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья; но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-

<sup>1</sup> Дорогой мой; надо принять это во внимание (франц.).

то: «Mais c'est impayable!»<sup>1</sup>, «Mais comment donc!» и пр. Со всем тем я по крайней мере не слишком охотно его посещаю и, если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой ливрее с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлуга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреджали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher<sup>2</sup>, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами.

---

<sup>1</sup> Забавно! (франц.).

<sup>2</sup> Как же! (франц.)

<sup>3</sup> Извините, мой дорогой (франц.)

— Насчет Федора... распорядиться,— проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаю-с,— отвечал толстый и вышел.

— Voilà mon cher, les désagréments de la campagne<sup>1</sup>,— весело заметил Аркадий Павлыч.— Да куда же вы? останьтесь, посидите еще немного.

— Нет,— отвечал я,— мне пора.

— Все на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок верст отсюда, в Рябово.

— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я-таки давно в Шипиловке не бывал: все времени улучшить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Се sera charmant<sup>2</sup>. Мы вместе поужинаем,— мы возьмем с собою повара,— вы у меня переночуете. Прекрасно! прекрасно!— прибавил он, не дождавшись моего ответа.— C'est arrangé...<sup>3</sup> Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посоветился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сенном бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

— Ведь вы, может быть, не знаете,— продолжал он, покачиваясь на обеих ногах,— у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, c'est leur affaire<sup>4</sup>. Бурмистр у меня там молодец, une forte tête<sup>5</sup>, государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несессеров, что иному бережливому и владеющему собою немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него

<sup>1</sup> Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни (франц.).

<sup>2</sup> Это будет прелестно (франц.).

<sup>3</sup> Все устроено (франц.).

<sup>4</sup> Это их дело (франц.).

<sup>5</sup> Умная голова (франц.).

руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец, мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», — потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцей за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых паневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшей под самыми глазами, оторвал недопоенную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взошел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые

жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч высрал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посевах и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторожился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмирова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином — вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем, — откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него пахло.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши, — заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут, — насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку, — прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну, что, брат Софрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши! — воскликнул Софрон, — да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе, господи, Аркадий Павлыч, слава тебе, господи! Благополучно обстоит все милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах вы, отцы наши!..

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: „N'est-ce pas que c'est touchant?“<sup>1</sup>

— Да, батюшка Аркадий Павлыч, — продолжал неугомонный бурмистр, — как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка;

<sup>1</sup> Не правда ли, это трогательно (франц.).

Аркадьева

Аркадьева



известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего,— с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч,— здесь хорошо.

— Да ведь, отцы вы наши,— для кого хорошо? для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы... ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу одурел вовсе

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать Сына своего старик прогнал дескать, духоты напущаешь.

Ну, что, размежевался, старина?— спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

Размежевались, батюшка, все твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблестворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

Егор мне докладывал,— важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

Ну, и стало быть вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

Ах вы, отцы наши, милостивцы наши!— запел он опять...— Да помиуйте вы меня.. да ведь мы за вас, отцы наши, денно и ночью господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его.

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать, говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублей — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколь-

ко раз сказал мне, указывая на него головой: „*Quel gaillard, ah?*“<sup>1</sup>

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторож заколотил в доску; ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке: одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил раkitником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроен вселе Шипилофке втысеца восем Сод саракавом году. Сей скотный дфор». Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, — да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлыч, — на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить

---

<sup>1</sup> Каков молодец, а? (франц.).

в лес», — заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидели мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояли два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону, — Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г-н Пеночкин, — языков у вас нет, что ли? — Сказывай ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув на старика. — Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой баюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел.

— Ну, так чем же он тебя замучил?— заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнес Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит?— спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с,— отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер»,— неработающий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку взнес, батюшка,— продолжал старик,— вот пятый годочек пошел, как взнес, а как взнес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А отчего недоимка за тобой завелась?— грозно спросил г-н Пеночкин. (Старик понурил голову.)— Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас,— с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч,— ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай.

— И грубиян тоже,— ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч,— с отчаяньем заговорил старик,— помилуй, заступись,— какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, немогоду приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись...

— Да и не нас одних,— начал было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) Je vous demande bien pardon, mon cher<sup>1</sup>,— сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос.— C'est

---

<sup>1</sup> Прошу извинить меня, дорогой мой (франц.).

le mauvais côté de la médaille...<sup>1</sup> Ну, хорошо, хорошо,— продолжал он, не глядя на мужиков,— я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия»,— проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г-не Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек: такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды...— затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтора десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умень, больно умень, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! недоимок не бывает, так ему что?— Да, поди ты,— прибавил он после небольшого молчания,— пожалуйся. Нет, он тебя... да, поди-ка... Нет уж, он тебя вот как, того...

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну,— промолвил Анпадист,— заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забудет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось... Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой

---

<sup>1</sup> Это обратная сторона медали (франц.).

пес, собака, прости господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расхотелся! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье!

Мы отправились на охоту.

*Зальцбрунн, в Силезии,  
июль 1847 г*

## КОНТОРА

Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоянный двор на большой курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидел старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон нашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие, маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода.

— Дедушка! а дедушка!— проговорил я.

Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.

— Чего?— прошамшил он сиплым голосом.

— Где тут деревня близко?— спросил я.

Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.

— Деревня?.. да тебе что надо?

— А вот от дождя укрыться.

— Чего?

— От дождя укрыться.

— Да! (Он почесал свой загорелый затылок.) Ну, ты, тово, ступай,— заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками,— во... вот, как мимо леска пойдешь, вот как пойдешь — тут те и будет дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай... Ну, там те и будет Ананьево. А то и в Ситовку пойдешь.

—  
Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался.

— Да ты откуда?— спросил я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Из Ананьева.

— Что ж ты тут делаешь?

— Чего?

— Что ты делаешь тут?

— А сторожем сажу.

— Да что ты стережешь?

— А горох.

Я не мог не рассмеяться.

— Да помилуй, сколько тебе лет?

— А бог знает.

— Чай, ты плохо видишь?

— Чего?

— Видишь плохо, чай?

— Плохо. Бывает так, что ничего не слышу.

— Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?

— А про то старшие знают.

«Старшие!»— подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки.

Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался, наконец, до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности жилище старосты, куда я и направил шаги свои в надежде найти у него самовар, чай, сахар и не совершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взошел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидел несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет двадцати, с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был, как следует, в серый нанковый кафтан с гляncем на воротнике и на желудке.

— Чего вам надобно?— спросил он меня, дернув кверху головою, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду.

— Здесь приказчик живет... или...

— Здесь главная господская контора,— перебил он меня.— Я вот дежурным сажу... Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита.

— А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?

— Как не быть самоваров,— с важностью возразил малый в сером кафтане,— ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене-птишнице.

— С кем ты это говоришь, болван ты этакой? спать не даешь, болван!— раздался голос из соседней комнаты.

— А вот господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться.

— Какой там господин?

— А не знаю. С собакой и ружьем.

В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет пятидесяти, толстый, низкого роста, с бычачьей шеей, глазами навывкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу.

— Чего вам угодно?— спросил он меня.

— Обсушиться.

— Здесь не место.

— Я не знал, что здесь контора; а впрочем, я готов заплатить...

— Оно, пожалуй, можно и здесь,— возразил толстяк,— вот, не угодно ли сюда. (Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел.) Хорошо ли здесь вам будет?

— Хорошо... А нельзя ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов.

— А чье это имя?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Он вышел. Я оглянулся: вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван; два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была лягавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, и на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз; из-за арбуза виднелся в отдалении греческий портик с надписью: «Храм Удовлетворенья». На третьей картине представлена была полунагая женщина в лежачем положении en rassoingsi, с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, повидимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно



происходит около господских усадеб: девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор; курицы кудахтали; чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э — я фа пасатыню удаляюсь  
Ата прекарасаных седешенеха мест...  
и проч.

Толстяк вошел ко мне в комнату.

— Вот вам чай несут,— сказал он мне с приятной улыбкой.

Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котёлок, твердых, как кремь. Толстяк вышел.

— Что это,— спросил я дежурного,— приказчик?

— Никак нет-с: был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен.

— Да разве у вас нет приказчиков?

— Никак нет-с. Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету.

— Так управляющий есть?

— Как же, есть: немец, Линдамандол, Карло Карлыч, только он не распоряжается.

— Кто ж у вас распоряжается?

— Сама барыня.

— Вот как!.. Что ж, у вас в конторе много народу сидит?

Малый задумался.

— Шесть человек сидит.

— Кто да кто?— спросил я.

— А вот кто: сначала будет Василий Николаевич, главный кассир; а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик; Коскенкин Наркизов, тоже конторщик, я вот — да всех и не перечтешь.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нет, не то чтобы много.

— Однако сколько?

— Человек, пожалуй, что полтора ста набезит.

Мы оба помолчали.

— Ну, что ж, ты хорошо пишешь?— начал я опять.

Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.

— Вот мое писанье,— промолвил он, не переставая улыбаться.

Я посмотрел: на четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий

«Приказывается тебе немедленно по получении сего розыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду, и гувернантку мадам Энжени французенку разбудил и обеспокоил? и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил? О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести.

*Главный конторщик Никол и Хвостов»*

К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью «Печать главной господской ананьевской конторы»; а внизу стояла приписка: «В точности исполнить. Елена Лоснякова»

— Это сама барыня приписала, что ли?— спросил я.

— Как же-с, сами: оне всегда сами. А то и приказ девствовать не может.

— Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?

— Нет-с. Сам придет да прочтает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает. (Дежурный опять помолчал.) А что-с,— прибавил он, ухмыляясь,— ведь хорошо написано-с?

— Хорошо.

— Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер

— Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются?

— А то как же-с? Не прямо же набело писать.

— А сколько ты жалованья получаешь?— спросил я.

— Тридцать пять рублей и пять рублей на сапоги.

— И ты доволен?

— Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает Мне-то, признаться, сам бог велел: у меня дядюшка дворецким служит.

— И хорошо тебе?

— Хорошо-с. Правду сказать,— продолжал он со вздохом,— у купцов, например, то есть, нашему брату лучше. У купцов нашему брату очень хорошо. Вот к нам вечер приехал купец из Венёва,— так мне его работник сказывал... Хорошо, неча сказать, хорошо.

— А что, разве купцы жалованья больше назначают?

— Сохрани бог! Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поит, и одевает, и все. Угодишь ему — еще больше даст... Что твое жалованье! не надо его совсем... И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашинскому: поедешь с ним в дорогу — он пьет чай, и ты пей чай; что он кушает, то и ты кушай. Купец... как можно: купец не то, что барин. Купец не блажит; ну, осерчает — побьет, да и дело с концом.

Не мозжит, не шпынляет... А с барином беда! Все не по нем: и то не хорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье — «Ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять — «Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что!.. или вот еще барышни!..

— Федюшка! — раздался голос толстяка в конторе.

Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два.

Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела; я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.

— Тэк-с, тэк-с, Николай Еремеич, — говорил один голос, — тэк-с. Эвтого нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно... Гм! (Говорящий кашлянул.)

— Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч, — возразил голос толстяка, — уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите.

— Кому же и знать, Николай Еремеич: вы здесь, можно сказать, первое лицо-с. Ну, так как же-с? — продолжал незнакомый мне голос, — чем же мы порешим, Николай Еремеич? Позвольте полюбопытствовать.

— Да чем порешим, Гаврила Антоныч? От вас, так сказать, дело зависит: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремеич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое; наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеич, можно сказать.

— Восемь рублей, — проговорил с расстановкою толстяк.

Послышался вздох.

— Николай Еремеич, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антоныч, иначе поступить; как перед господом богом говорю, нельзя.

Наступило молчание.

Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет сорока, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.

— Удивительные, можно сказать, зеленя в нынешнем году-с, — заговорил он опять, — я все ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать.

— Точно, зеленя недурны, — отвечал главный конторщик, — да ведь вы знаете, Гаврила Антоныч, осень всключет, а как весна захочет.

— Действительно так, Николай Еремеич: все в божьей воле; совершенную истину изволили сказать... А никак ваш гость-то проснулся-с.

Толстяк обернулся... прислушался...

— Нет, спит. А, впрочем, можно, того...

Он подошел к двери.

— Нет, спит,— повторил он и вернулся на место.

— Ну, так как же, Николай Еремеич?— начал опять купец,— надо дельце-то покончить... Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть,— продолжал он, беспрерывно моргая,— две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с половиною. По рукам, что ли?

— Четыре сереньких,— отвечал приказчик.

— Ну, три!

— Четыре сереньких без беленькой.

— Три, Николай Еремеич.

— С половиной три и уж ни копейки меньше.

— Три, Николай Еремеич.

— И не говорите, Гаврила Антоныч.

— Экой несговорчивый какой,— пробормотал купец.— Этак я лучше сам с барыней покончу.

— Как хотите,— отвечал толстяк,— давно бы так. Что, в самом деле вам беспокоиться?.. И гораздо лучше!

— Ну, полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал.

— Нет, что ж в самом деле...

— Полно же, говорят... Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать.

— Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился,— проворчал толстяк.

— Так там, в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич,— за шесть с половиной хлеб отдается?

— Шесть с половиной, уж сказано.

— Ну, так по рукам, Николай Еремеич (купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика). И с богом! (Купец встал.) Так я, батюшка Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с и об себе доложить велю-с, и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с половиною-с порешили-с.

— Так и скажите, Гаврила Антоныч.

— А теперь извольте получить.

Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.

— Ну, что?— спросила голова.— Все как следует?

— Все как следует.

— Сколько?

Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.

— А, хорошо!— возразила голова и скрылась.

Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счета и начал откидывать и прикладывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки: оно приличнее.

Вошел дежурный.

— Что тебе?

— Сидор приехал из Голоплек.

— А! ну, позови его. Пстой, пстой.. Поди сперва посмотри, что тут, чужой-то барин, спит все или проснулся.

Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ягдташ, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.

— Спит,— прошептал дежурный, вернувшись в контору

Толстяк поворчал сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора,— промолвил он наконец.

Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидор,— проговорил толстяк, постукивая счетами.

— Здравствуйте, Николай Еремеич.

— Ну, что, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремеич. Грязновата маленько. (Мужик говорил нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что ей делается!

Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеич заложил перо за ухо и высморкнулся.

— Что ж, зачем приехал?— продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.

— Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют

— Ну, что ж, нет их у вас, что ли?

— Как им не быть у нас, Николай Еремеич: дача лесная — известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеич.

— Рабочая пора! То-то вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите... Все едино!

— Работа-то все едино, точно, Николай Еремеич... да что...

— Ну?

— Плата больно... того...

— Мало чего нет! Вишь, как вы избаловались. Поди ты!

— Да и то сказать, Николай Еремеич, работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить.

— Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего.

Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу.

Николай Еремеич скрутил голову набок и усердно застучал костяшками.

— Наши... мужики... Николай Еремеич...— заговорил, наконец, Сидор, запинаясь на каждом слове,— приказали вашей милости... вот тут... будет... (Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.)

— Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли?— поспешно перебил его толстяк.— Ступай, ступай ко мне в избу,— продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика,— там спроси жену... она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Да небось, говорят, ступай.

Сидор вышел вон.

— Экой... медведь!— пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты.

Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!»— раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в комнату человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький, изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек пять дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! В истопники Купрю произвели, в истопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой.

При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места; но, увидав, в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать: в соседней, дескать, комнате охотник спит.

— Какой охотник?— спросили человека два в один голос.

— Помещик.

— А!

— Пускай шумят,— заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником,— мне что за дело! лишь бы меня не трогали. В истопники меня произвели...

— В истопники! в истопники!— радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала,— продолжал он, пожав плечами,— а вы погодите... вас еще в свинопасы произведут. А что я портной, и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на енаралов шил... этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь?.. чего? из господской власти вышли, что ли? вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю — я с голоду не умру, я не пропаду; дай мне пашпорт — я оброк хороший «знесу и господ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, счовно мухи, вот и все!

— Вот и соврал,— перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстуком и разорванными локтями,— ты и по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господу не видали, и себе гроша не заработал: насилу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь.

— А что будешь делать, Константин Наркизыч!— возразил Куприян,— влюбился человек — и пропал, и погиб человек. Ты сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня.

— И в кого нашел влюбиться! в урода сущего!

— Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч.

— Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел; в прошлом году, в Москве, своими глазами видел.

— В прошлом году она действительно попортилась маленько,— заметил Куприян.

— Нет, господа, что,— заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намащенный, должно быть камердинер,— вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Нут-ка, начните, Куприян Афанасьич!

— Да, да!— подхватили другие.— Ай да Александра! подкузьмила Купрю, неча сказать... Пой, Купря!.. Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.) Пой!

— Здесь не место петь,— с твердостью возразил Куприян,— здесь господская контора.

— Да тебе-то что за дело? чай, в конторщики сам метишь!— с грубым смехом отвечал Константин.— Должно быть!

— Все в господской власти состоит,— заметил бедняк.

— Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков? у! у! а!

И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет пятнадцати, вероятно сын аристократа между дворней: он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета, и брюшко уже успел отрастить.

— А послушай-ка, признайся, Купря,— самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо распотешенный и разнеженный,— ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе?

— Да что, Николай Еремеич,— заговорил Куприян,— вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно, нету; а ведь и вы под опалой находились и в мужицкой избе тоже пожили.

— Ты смотри у меня, однако, не забывайся,— с запальчивостью перебил его толстяк,— с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются.

— К слову пришлось, Николай Еремеич, извините...

— То-то же к слову.

Дверь растворилась, и вбежал казачок.  
— Николай Еремеич, барыня вас к себе требует.  
— Кто у барыни?— спросил он казачка.  
— Аксинья Никитишна и купец из Венёва.  
— Сею минутою явлюся. А вы, братцы,— продолжал он убедительным голосом,— ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то: неравно немец забежит, как раз нажалуется.

Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного и вся ватага поплелась за ним вместе с Купрей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.

— Федюшка! а Федюшка! вечно спишь!— проговорила голова.

Дежурный открыл глаза и встал со стула.

— Николай Еремеич к барыне пошел?

— К барыне пошел, Василий Николаич.

«А! а!— подумал я,— вот он — главный кассир».

Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак с очень узкими фалдами; одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги он носил козловые, без скрипу, и выступал очень мягко.

— Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал,— прибавил дежурный.

— Гм, спрашивал? Что ж он такое говорил?

— Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Васильем Николаичем об одном деле переговорить, а о каком деле — не сказывал: уж Василий Николаич, говорит, знает.

— Гм!— возразил главный кассир и подошел к окну.

— Что, Николай Еремеев в конторе?— раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог.

— Нет его здесь?— спросил он, быстро глянув кругом.

— Николай Еремеич у барыни,— отвечал кассир.— Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассир



болезненно кивнул головой.) Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... Я ему дам наушничать!

Павел бросился на стул.

— Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь... Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич!— залепетал кассир.

— Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили козла в огород!

— Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! бросьте это.. что за пустяки такие?

— Ну, Лиса Патрикевна, пошла хвостом вилять!.. Я его дожусь,— с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу.— А, да вот он и жалуется,— прибавил он, взглянув в окошко,— легок на помине. Милости просим! (Он встал.)

Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремеевич,— значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу,— здравствуйте.

Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца.

— Что ж вы мне не изволите отвечать?— продолжал Павел.— Впрочем, нет... нет,— прибавил он,— этак не дело; криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеевич, за что вы меня преследуете? за что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите.

— Здесь не место с вами объясняться,— не без волнения возразил главный конторщик,— да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: с чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как, наконец, могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите.

— Еще бы,— отвечал Павел,— этого бы только недоставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеевич?. Ведь вы меня понимаете.

— Нет, не понимаю.

— Нет, понимаете.

— Нет, ей-богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да уж коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы бога! Ну, за что вы бедной девке жить не дадите? Что вам надобно от нее?

— Вы о ком говорите, Павел Андреич?— с притворным изумлением спросил толстяк.

— Эка! не знает, небось? я об Татьяне говорю. Побойтесь бога,— за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое... я жениться хочу, я по чести поступаю.

— Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что?

— Вы что? а вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И быют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич того и гляди разобьет... Богу отвечать придется.

— Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь... Долго ли вам придется ругаться-то!

Павел вспыхнул.

— Что? грозить мне вздумал?— с сердцем заговорил он.— Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело! Тебе только здесь и жить да наушничать, да воровать...

— Ведь вот как зазнался,— перебил его конторщик, который тоже начал терять терпение,— фершел, просто фершел, лекаришка пустой; а послушай-ка его — фу ты какая важная особа!

— Да, фершел, а без этого фершела ваша милость теперь бы на кладбище гнила... И дернула же меня нелегкая его вылечить,— прибавил он сквозь зубы.

— Ты меня вылечил?.. Нет, ты меня отравить хотел; ты меня сабуром опоил,— подхватил конторщик.

— Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло?

— Сабур врачебной управой запрещен,— продолжал Николай,— я еще на тебя пожалуюсь... Ты уморить меня хотел — вот что! Да господь не попустил.

— Полно вам, полно, господа,— начал было кассир...

— Отстань!— крикнул конторщик.— Он меня отравить хотел! Понимаешь ты эфто?

— Очень нужно мне... Слушай, Николай Еремеев,— заговорил Павел с отчаянием,— в последний раз тебя прошу... вынудил ты меня — невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? а то, ей-богу, не одобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю.

Толстяк расходился.

— Я тебя не боюсь,— закричал он,— слышишь ли ты, молоко-сос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил,— тебе пример, смотри!

— Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай!

— Вона! ты что мне за уставщик?

— Говорят тебе, не напоминай!

— А тебе говорят, не забывайся... Как ты там барыне, по-твоему, ни нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать,— не удержишься ты, голубчик! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павел дрожал от бешенства.) А девке Татьяне поделом... Погоди, не то ей еще будет!

Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжело покатился на пол.

— В кандалы его, в кандалы,— застонал Николай Еремеев...  
Конца этой сцены я не берусь описывать; я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя.

В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла, и Николая у себя в услужении, а девушку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.

## БИРЮК

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону,— та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это?— спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза,— отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет,— продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,— отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин»,— промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и, при свете молнии, увидел небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!»— раздался тоненький голосок. послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину,— сказал он ей,— а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом,— сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь?— спросил я девочку.

— Одна,— произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова,— прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег свечку.

— Чай, не привыкли к лучине?— проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой,— отвечал он,— а по прозвищу — Бирюк<sup>1</sup>.

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться,— силен, дескать, и ловок, как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк,— повторил я,— я, брат, слышал про тебя. Говорят, ты никому спуска не даешь.

— Должность свою справляю,— отвечал он угрюмо,— даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет?— спросил я его.

— Нет,— отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла,— прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала,— произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке.— На, дай ему,— проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок.— Вот и его бросила,— продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

— ы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть не станете, а у меня, кроме хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут?— спросил я.

— Улитой,— проговорила она, еще более понутив свое печальное личико.

---

<sup>1</sup> Бирюком во времена в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. (Прим. автора.)

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит,— заметил он после небольшого молчания, коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем?— спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху<sup>1</sup> дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул руку,— вишь, какую ночь выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй,— прибавил он вслух,— и прозеваю его»,—«Я с тобой пойду... хочешь?»—«Ладно,— отвечал он и попятил лошадь назад,— мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топсра. «Вишь,— бормотал он сквозь зубы,— слышите? слышите?»—«Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновение мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался...

— Повалил...— пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь»,— шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!»—загремел вдруг железный голос Бирюка Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба «Вре-ешь, вре-ешь,— твердил, задыхаясь, Бирюк,— не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки за спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом

<sup>1</sup> «Верхом» называется в Орловской губернии овраг. (Прим. автора.)

Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его,— шепнул я на ухо Бирюку,— я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за челку левой рукой: правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!»— промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите»,— пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?»— сказал лесник и поднял топор. Мы отправились Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил,— заметил лесник,— переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер,— продолжал он, указывая на мужика,— да, вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай,— перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренно дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым,— а Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— прикащик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти,— повторял он с унылым отчаяньем,— отпусти, ей-богу, отпусти! я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,— продолжал мужик,— лошаденку-то, хоть е-о... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну, на, ешь, на, подавись, на,— начал он, прищурился и опустив углы губ,— на, душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал?— заговорил с изумлением лесник.— С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, верь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай все: жена, дети — околевай всё... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей,— подхватил мужик свирепым голосом,— бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать!— загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома,— закричал я,— оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать,— продолжал несчастный.— Все едино околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затаял тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин!— крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своею лошадыю!— закричал он ему вслед,— да смотри, в другой раз у меня...

Он вернулся в избу и стал копать в углу.

— Ну, Бирюк,— промолвил я наконец,— удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.



— Э, полноте, барин,— перебил он меня с досадой,— не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу,— прибавил он.— Знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поплелся!— пробормотал он,— да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

## ДВА ПОМЕЩИКА

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя все кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда не называют себя стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно глядит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не говорит, например: «Благодарю, Павел Васильевич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асилич», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?..

как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйничества никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имени часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, — отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек... Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает, — вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет... Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрестанно поводит усами и бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «*Journal des Débats*». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя, по скупости, отказывается. «Господа, — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, — много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстук. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет

генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по будничным дням ходит в крахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также недурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, церковных освящениях, собраниях и выставках; под благословение тоже подходит мастер. На разбегах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж...» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая высказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знает, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пус-тяги говорите», или: «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милосвй сдари мой, вам поставить на вид», или: «Наконец вы должны, однакоже, знать, с кем имеете дело», и пр. Особенно боятся его почтмейстеры, непрменные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный,

с правилами, vieux grognard»<sup>1</sup>, — говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, — да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим именем довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожжи и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей; тут же, направо, буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортепьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкафы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад.. Словом, все как водится. Людей у Мардария Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в домаделанной коляске в полтора пуд. Гостей принимает очень радушно и угощает на славу, то есть, благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только

---

<sup>1</sup> Старый ворчун (*франц.*).

что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостиной возле двери, на самом краюшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка,— заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки,— не уходи... Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с,— с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! как в вашем званье не пить!— отвечал Мардарий Аполлоныч.— Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо,— заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человек,— продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед,— очень я им доволен; одно — молод еще. Всё проповеди держит, да вот вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон — вишь вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение.

— Чьи это куры? чьи это куры?— закричал он,— чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки!— твердил Мардарий Аполлоныч,— это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал, как иступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хворостиной в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик. — Ермила кучера куры! вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось, Параша не выслал, — присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула ее по спине...

— Вот тэк, э вот тэк, — подхватил помещик, — те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья, — прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? — Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка, — начал я, — Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь; сажалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. — У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сажалки, что ли, там у них не выкопал, — уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой, по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня, скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал и так рассовывал — кой-куда; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, — но остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя

блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое?— спросил я с изумлением.

— А там по моему приказу шалунишку наказывают... Васю буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намедни за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы?— заговорил он, качая головой.— Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любый да накажет: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подозвал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали?— спросил я его.

— А вы почему знаете?— отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что ж тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел!— сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!»— думал я на возвратном пути.

## СМЕРТЬ

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только, говорит, поедemте по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете мой дубовый лес? У меня его рубят». — «Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную флягу, накинуд на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятого Архипа, толстого и приземистого мужика с четверугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фон-дер-Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской со-

ветницы Кардон-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постели, продолжительно и жалобно кряхтела. Мы въехали в «мелочá». «Вы меня здесь подождите на полянке», — промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты; я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книжку в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыкивала от малейшего прикосновения; Архип встрепнулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул, наконец, с места свою ошеломленную и придавленную лошадедку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-r Désiré Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы величественно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились под неподвижными верхушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; белая прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; краснобурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что в лесу за тень была! В самый жар, в полдень — ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей — дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая «сменила их, не заменив»...<sup>1</sup> Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимали кверху свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой,



хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные, наконец, вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы мог это предвидеть — тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья, чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася  
Речь высокая,  
Сила гордая,  
Доблесть царская?  
Где ж теперь твоя  
Мочь зеленая?..

— Как же это, Ардалион Михайлыч,— начал я,— отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут

Он только плечами пожал.

— Спросили бы тетушку; а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott!— восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок.— Што са шалость! што са шалость!

— Какая шалость?— с улыбкой заметил мой сосед.

— То ист как шалко, я сказать хотел. (Известно, что все немцы, одолевшие, наконец, нашу букву «люди», удивительно на нее напирают.)

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы — и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

— Что такое? куда ты бежишь?— спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

— Ах, батюшка Ардалион Михайлыч, беда!

— Что такое?

— Максима, батюшка, деревом пришибло.

— Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы яшень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял да и пойдя за водой к колодцу: слышь, пить

---

В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снегу; зелены все вымерзли, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная зима. Заменить их трудно: производительная сила земли видимо скудеет, на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить роши у нас не умеют. (Прим. автора.)

захотелось. Как вдруг яшень затрещит да прямо на него. Мы ему кричим: беги, беги, беги.. Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побегит... заробел, знать. Яшень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился,— господь его знает. Разве сердцевина гнила была.

— Ну, и убило Максима?

— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нет, батюшка, еще жив,— да что: ноги и руки ему пе-  
решибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на ссечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

— Батюшка,— заговорил он едва внятно,— за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Они-  
сим знает... кому я... что должен...

— Мы за лекарем послали, Максим.— заговорил мой сосед,—  
может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

— Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите  
не, ребята, коли в чем...

— Бог тебя простит, Максим Андреич,— глухо заговорили му-  
жики в один голос и шапки сняли,— прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и  
опустился опять.

— Нельзя же ему, однако, тут умирать,— воскликнул Ардалион  
Михайлыч,— ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, снесемте  
его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

— Я у Ефима... сычовского...— залепетал умирающий,— ло-  
шадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя.. жене ее...  
тоже...

Стали его класть на рогожу... он затрепетал весь, как застрелен-  
ная птица, и выпрямился...

— Умер,— пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удиви-  
тельно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной

нельзя назвать ни равнодушным, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.

Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунулся в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нареспев подгорюнившаяся баба. Подхожу — лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» — «Вестимо, плохо», — говорит «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» — «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса — гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозитя на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают; братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» — проговорил, наконец, больной. «Чего?» — «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» — «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница это состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки:

Dans ces beaux lieux, où régne l'allégresse,  
Ce temple fut ouvert par la Beauté;  
De vos seigneurs admirez la tendresse,  
Bons habitants de Krasnogorié!<sup>1</sup> —

а другой господин внизу приписал:

Et moi aussi j'aime la nature!  
Jean Kobylatnikoff<sup>2</sup>

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ божий. Кроме его, при больнице состояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухо-рукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба

<sup>1</sup> В прекрасных местах, где царствует веселье. Сама красота воздвигла этот храм; Восхищайтесь щедростью ваших господ. Добрые обитатели Красногорья! (франц.)

<sup>2</sup> И я тоже люблю природу!

Иван Кобылятников (франц.)

приготовляли лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба была его и заставляла стеречь индюшек. Вот сижу я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошастью, какие только бывают у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич,— закричал из окна Капитон,— милости просим... Лыбовшинский мельник»,— шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерovu комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо». — «Да, Капитон Тимофеич, неладно что-то». — «Что с вами?» — «Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так йокнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно». — «Гм,— промолвил Капитон и понюхал табуку,— значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» — «Да десятый денек пошел». — «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздуж и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич,— проговорил он наконец,— жаль мне тебя сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я, с своей стороны, все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь». — «Будто так худо?» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньками двумя пораньше — и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди, антонов огонь сделается». — «Да быть не может, Капитон Тимофеич». — «Уж я вам говорю». — «Да как же это!» (Фельдшер плечами пожал.) «И умирать мне из-за этакой дряни?» — «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке, да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» — «Куда? вестимо куда,— домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так». — «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? останьтесь». «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж я здесь умру,— у меня дома и господь знает что приключится». — «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) — «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствецо разве пропишите». — «Лекарство одно не поможет». — «Не останусь, говорят». — «Ну, как хочешь... чур потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтинник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом, да сироток не забывайте, коли что...» — «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречаемыми раскланивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твое чахоточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члены; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей, Фофу и Зёзю, русской грамоте, географии и истории, терпеливо сносил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек; не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты садился перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как нравились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко навертывались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовь к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах — молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание друзей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Все ты, все ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»; злые предчувствия тебя мучили... И точно: в деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою, как с учителем: одни — грубо, другие — небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не испортил сельский режим; иная ты как

свечка, бедняк! Правда, комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на чернильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой, чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и синими глазками; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами; но одиночество, но невыносимое рабство учительского звания, невозможность освождения, но бесконечные осени и зимы, но болезнь неотступная... Бедный, бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупяников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зёзе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело синело над темно-бурью грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые, румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт», — пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола  
Крылья связаны?  
Аль пути ему  
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово, и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? — он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намякнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пируш-

ки, жаркие прения нашего кружка, с сожаленьем произнес имена двух-трех умерших приятелей...

— Помнишь Дашу?— прибавил он наконец,— вот золотая была душа! вот было сердце! и как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного,— и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами — братьями Кондачковыми, белится и румянится, пишит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне докончить мое предложение.

— Нет, брат, спасибо,— промолвил он,— все равно где умереть. Я ведь до зимы не доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние...

— Злые, что ли?— подхватил я.

— Нет, не злые! деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

— Все бы ничего,— продолжал он, отдохнувши,— кабы трубочку выкурить позволили... А уж я так не умру, выкурю трубочку! — прибавил он, лукаво подмигнув глазом.— Слава богу, пожил довольно, с хорошими людьми знался...

— Да ты бы хоть к родным написал,— перебил я его.

— Что к родным писать? Помочь — они мне не помогут; умру — узнают. Да что об этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через десять получил следующее письмо от г. Крупяникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа пополудни скончался и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковою же бесчувственностью, не изъясняя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя, Клеопатра Александровна, вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы: что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею пребывать

Вашим покорнейшим слугою.

*Г. Крупяников»*

Много других еще примеров в голову приходит,— да всего не перескажешь. Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка,— проговорила она коснеющим языком,— успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

## ПЕВЦЫ

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежащее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки,— через реку можно по крайней мере навести мост,— разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четверугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки прибита голубая дощечка; это избушка — кабак, прозванный «Притынным»<sup>1</sup>. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но пощается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник — Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками,— уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличающийся особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром

---

<sup>1</sup> Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое оживленное место. (Прим. автора.)



привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне, и разве только отдаленными, словно без всякого намеренья произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожанном, в песнях и плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает все, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проникательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, остроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучами носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики,

за наименьшем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые, полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый основной сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой, на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет, наконец, этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабака показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная, суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая, остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения, — зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь: зачем? А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет, то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет?— с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом.— И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру,— с достоинством отвечал Обалдуй,— а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота,— возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя,— залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный,— презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке, как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, немногие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядом стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две, три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую, а за ним в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие, беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светлорусыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке,— да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или ~~поющим~~ перед собранием.

Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широко-скулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четверугольным подбородком и черными, блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Баринном. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры: это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый, тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнением произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребята, начинайте, — пропищал Моргач.

Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждали чего-то.

— Начинай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом

у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнес Дикый-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубами. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикый-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикый-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош: все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я уже говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, ну, не «циркай»!<sup>1</sup> — презрительно заметил Дикый-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волнение.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

---

<sup>1</sup> Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются. (Прим. автора.)

— Ну, ну, не прохлаждайся — начинай!— решил Дикий-Барин и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабаке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным, неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями,— так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач несколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромым, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил, наконец, ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, причислся в мещане, начал снимать у соседей бакшиш, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой

не добрый, а более расчетливый; это третий калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более пронизательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»<sup>1</sup>. Они никогда не смотрят просто — все высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому простое, предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело, — кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает, и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько подробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежатая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе, но ничего положительного об этом не знали, да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно

---

<sup>1</sup> Орляк и моргачи называют глаза гляделками, так же как рот едоком. (Примечание автора.)

сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно,— в нем вообще не было ничего скромного, но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал, и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства,— смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлой, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал, и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны; знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia*, *ténor léger*<sup>1</sup>. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,  
Землицы маленько:  
Я посею, молода-молоденька,  
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки

<sup>1</sup> Лирический тенор (итал., франц.).



хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накальвай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй, наконец, затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспорядочно улыбался. Один Дикий Барин не изменился в лице и попрежнему не двигался с места, но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделявать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда, наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас,— общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков, как сумасшедший, закричал: «Молодец, молодец!»— даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» и с решительностью плюнул в сторону

— Ну, брат, потешил!— кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий,— потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач,— дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну, что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью,— сказал Обалдуй и подошел к стойке.— На твой счет, брат,— прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крикая, принял грустно озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо,— ласково заметил Николай Иваныч.— А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим.... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо,— заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га!— повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха!<sup>1</sup> — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, устави́л на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. — Полеха! полеха! Га, баде-паняй<sup>2</sup>. заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина.

— Да что ж это за неносное животное такое? — произнес он, скрипнув зубами.

— Я ничего, — забормотал Обалдуй, — я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин. — Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!... чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит. И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впилась в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым — третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролежала», — пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладе-

---

Полехами называются обитатели южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Полези прибавляют почти к каждому слову восклицания «га!» и «баде». «Паняй» вместо погоняй. (Прим. автора.)

вало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдаль, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднялись к глазам слезы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего, Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и нешевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша,— проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо, и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл»,— произнес он, наконец, с трудом и бросился вон из комнаты...

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарование: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иванович приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу, хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!»— а жена Николая Иваныча, вся покрасневшая, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза

так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и леи на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго и не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... наконец жара и усталость взяли, однакож, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, — все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видимыми звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несли нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: все было пьяно — все, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топтал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица, как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловельх, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, взглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный, как рак, и широко раздвув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая по ледный слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко-дремлющем воздухе. Тридцать раз по крайней мере прокричал он имя Антропки как вдруг с противоположного конца поляны, словно другого света, принесся едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал

— Иди сюда, черт, леши-и и ий

— Заче-е-е-ем? — ответил тот пу ты долгое время

— А затем, что тебя тятя вы ечь хочи и и т поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» все еще чудилось в воздухе наполненном тенью ми ночи.

### ПЕТР ПЕТРОВИЧ КАРАТАЕВ

Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность, и, выходя на крыльцо, бранил ямщиков, которые медленно брели по грязи и с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные воуслициания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай несколько раз пытался заснуть, прочел все надписи на окнах и на стенах: скука меня томила страшная С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса, как вдруг зазвенел колокольчик и небольшая телега запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «Живее лошадей» вошел в комнату. Пока он, с обычным странным изумлением выслушивал ответ смотрителя, что лошадей-де нету, я успел, со всем жадным любопыт

ством скучающего человека, окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под тридцать. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватом, с неприятным медным отблеском; иссиня-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались в ухарские виски, небольшие опухшие глазки глядели — и только; на верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архаук, полинявший шелковый галстух лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог. От него сильно несло табаком и водкой; на красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия; но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно-доброго и страстного выраженья его лица.

Вот и они ждут здесь более часу-с,— промолвил смотритель, указывая на меня.

Более часу! Злодей смеялся надо мной.

Да им, может быть, не так нужно,— отвечал приезжий  
Уж этого-с мы не можем знать-с,— угрюмо сказал смотритель

Как неужели нельзя никак? Нет лошадей решительно?

Нельзя-с. Ни одной лошади не имеется

Ну, так велите же мне самовар поставить. Подождем делать нечего

Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам.

А вы уж пили чай?— спросил он меня.

— Пил.

— А еще раз для компании не угодно?

Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым.

Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда как уж он с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь.

Теперь я еду в Москву,— говорил он мне, допивая четвертый стакан,— в деревне мне уж теперь нечего делать.

— Отчего же нечего?

Да так-таки нечего. Хозяйство порасстроилось, мужиков поразорил, признаться; подошли годы плохие: неурожай, разные знаете, несчастья... Да, впрочем,— прибавил он, уныло глянув в сторону — какой я хозяин!

Почему же?

— Да нет,— перебил он меня,— такие ли бывают хозяева! Вот видите ли,— продолжал он, скрутив голову набок и прилежно насасывая трубку,— вы так, глядя на меня, можете подумать, что я и того... а ведь я, должен вам признаться, воспитанье получил средственное; достатков не было. Вы меня извините я человек откровенный, да и наконец...

Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и проч., а потом заметил, что для управления именьем, кажется, не нужно слишком сильного образования.

— Согласен,— отвечал он,— я с вами согласен. Да все же нужно такое, особенное расположение! Иной мужика дерет как липку, и ничего! а я... Позвольте узнать, вы сами из Питера или и Москвы?

— Я из Петербурга.

Он пустил ноздрями долгую струю дыма.

— А я в Москву еду служить.

— Куда же вы намерены определиться?

— А не знаю; как там придется. Признаться вам, боюсь я службы: как раз под ответственность попадешь. Жил все в деревне; привык, знаете... да уж делать нечего... нужда! Ох, уж эта мне нужда!

— Зато вы будете жить в столице.

— В столице... ну, я не знаю, что там в столице хорошего. Посмотрим, может быть, оно и хорошо... А уж лучше деревни кажется, и быть ничего не может.

— Да разве вам уже невозможно более жить в деревне?

Он вздохнул.

— Невозможно. Она уж теперь, почитай что, и не моя.

— А что?

— Да там добрый человек — сосед завелся... вексель..

Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и тряхнул головою.

— Ну, да уж что!.. Да признаться,— прибавил он после небольшого молчания,— мне не на кого пенять,— сам виноват. Любил покуражиться!.. Люблю, черт возьми, покуражиться!

— Вы весело жили в деревне?— спросил я его.

— У меня, сударь,— отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза,— было двенадцать смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного. (Он это последнее слово произнес нараспев.) Русака как раз замотают, а уж на красного зверя — змеи, просто аспиды. И борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое, лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака Контеска: стойка необыкновенная верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу: шарш! как искать не станет, так хоть с дюжиной собак пройди — шалишь, ничего не найдешь! а как станет — просто рада умереть на месте!.. И в комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб из левой руки да скажешь: жид ел,— ведь не возьмет, а дашь из правой да скажешь: барышня

кушала — тотчас возьмет и съест. Был у меня щенок от нее, отличный щенок, и в Москву везти хотел, да приятель выпросил вместе с ружьем; говорит: в Москве тебе, брат, будет не до того; там уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье; уж оно все там, знаете, осталось.

— Да вы и в Москве могли бы охотиться.

— Нет уж, к чему? не сумел держаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что жизнь в Москве — дорога?

— Нет, не слишком.

— Не слишком?.. А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут?

— Какие цыгане?

— А вот что по ярмаркам ездят?

— Да, в Москве...

— Ну, это хорошо. Люблю цыган, черт возьми, люблю...

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой стакан.

— Дайте-ка мне вашего рому, — проговорил он.

— Да чай весь вышел.

— Ничего, так, без чаю... Эх!

Каратаев положил голову на руки и оперся руками на стол. Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек, но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица.

— Что с вами?

— Ничего-с... старину вспомнил. Такой анекдот-с... Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить...

— Помилуйте!

— Да, — продолжал он со вздохом, — бывают случаи... хотя, на пример, и со мной. Вот, если хотите, я вам расскажу. Впрочем, не знаю...

— Рассказывайте, любезный Петр Петрович.

— Пожалуй, хоша оно того... Вот, видите ли, — начал он, — но я право, не знаю...

— Ну, полноте, любезный Петр Петрович.

— Ну, пожалуй. Так вот что со мной, так сказать, случилось. Жил я-с в деревне... Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка была... красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матреной-с. А девка она была простая, то есть, вы понимаете крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая, — вот в чем беда. Ну, вот я ее полюбил, — такой, право анекдот-с — ну и она. Вот и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, от госпожи; да и я сам уже об эфтом подумывал... А госпожа-то у ней была богатая, старушенция страшная; жила от меня верстах в пятнадцати. Ну вот в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой, — в корню ходил у меня



иноходец, азиатец необыкновенный, зато и назывался Лампурдос,— оделся получше и поехал к Матрениной барыне. Приезжаю дом большой, с флигелями, с садом... У поворотка Матрена меня ждала, хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?..» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажите?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел; я жду себе и думаю. что-то будет? чай, заломит, бестия, цену страшную, даром что богата. Рублей пятьсот, пожалуй, запросит. Вот, наконец, вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая, желтенькая старушонка и глазами моргает «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что, дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь, я не здешняя хозяйка, а ее родственница... Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно переговорить. «Марья Ильинична не принимает сегодня: она нездорова... Что вам угодно?» Делать нечего, подумал я про себя, объясню ей мое обстоятельство. Старуха меня выслушала. «Матрена? какая Матрена?»—«Матрена Федорова, Куликова дочь».—«Федора Кулика дочь... да как вы ее знаете?»—«Случайным манером».—«А известно ей ваше намерение?»— «Известно». Старуха замолчала. «Да я ее, негодную!..» Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте!.. Я за нее готов внести сумму, только извольте назначить». Старая хрычовка так и зашипела. «Вот вздумали чем удивить: нужны нам очень ваши деньги!.. а вот я ее ужю, вот я ее... Дурь-то из нее выбью» Раскашлялась старуха со злости. «Нехорошо ей у нас, что ли?. Ах, она чертовка, прости, господи, мое согрешенье!» Я, признаюсь, вспыхнул: «За что же вы грозите бедной девке? чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах ты, мой господи! Иисусе Христе! Да разве я в своих холопьях не вольна?»— «Да ведь она не ваша!»— «Ну, уж про это Марья Ильинична знает, не ваше, батюшка, дело; а вот я ужю Матрешке-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матрене, и руки опустил. Заробел так, что пересказать невозможно; начал упрашивать старуху: «Возьмите дескать, что хотите». «Да на что она вам?»— «Понравилась, матушка; войдите в мое положенье... Позвольте поцеловать у вас ручку» И таки поцеловал у шельмы руку! «Ну,— прошамшила ведьма,— я скажу Марье Ильиничне; как она прикажет; а вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел, напрасно дал свое расположение заметить, да хватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное, сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушки; и родственница прежняя тут сидит, да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнусила: «Прошу

садиться». «Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать, и так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала на себя... «Мне, говорит, докладывала Катерина Карповна об вашем намерении, докладывала, говорит; но я себе, говорит, положила за правило: людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме: это непорядок. Я уже распорядилась, говорит, вам уже более беспокоиться, говорит, нечего». — «Какое беспокойство, помилуйте... А может, вам Матрена Федорова нужна?» — «Нет, говорит, не нужна». — «Так отчего же вы мне ее уступить не хотите?» — «Оттого, что мне не угодно: не угодно, да и все тут. Я уж, говорит, распорядилась: она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышне: та вышла. «Я, говорит, женщина правил строгих, да и здоровье мое слабое: беспокойства переносить не могу. Вы еще молодой человек, а я уж старая женщина и вправе вам давать советы. Не лучше ли вам пристроиться, жениться, поискать хорошей партии; богатые невесты редки, но девицу бедную, зато хорошей нравственности, найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю, что она там такое мелет; слышу, что толкует о женитьбе, а у меня степная деревня все в ушах звенит. Жениться!.. какой черт...

Тут рассказчик внезапно остановился и поглядел на меня.

— Ведь вы не женаты?

— Нет.

Ну, конечно, дело известное. Я не вытерпел: «Да помилуйте, ма-тушка, что вы за ахинею порете? Какая тут женитьба? я просто желаю узнать от вас, уступаете вы вашу девку Матрену или нет?» Старуха захохала. «Ах, он меня обеспокоил! ах, велите ему уйти! ах!..» Родственница к ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонет: «Чем это я заслужила?.. Стало быть, я уж и в своем доме не госпожа? ах, ах!» Я схватил шляпу и, как сумасшедший, выбежал вон.

— Может быть, — продолжал рассказчик, — вы осудите меня за то, что я так сильно привязался к девушке из низкого сословия: я и не намерен себя, то есть, оправдывать... так уж оно пришлось!.. Верите ли, ни днем, ни ночью покоя мне не было... Мучусь! за что, думал я, погубил несчастную девку! Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу, содержится, да староста, мужик в дехтярных сапогах, ее ругательски ругает — холодный пот так с меня и закапает. Ну, не вытерпел, проведаль, в какую деревню ее сослали, сел верхом и поехал туда. На другой день под вечер только приехал. Видно, от меня такого пассажи не ожидали и никакого на мой счет приказания не дали. Я прямо к старосте, будто сосед; вхожу на двор, гляжу: Матрена сидит на крыльчке и рукой подперлась. Она было вскрикнула, да я ей погрозил и показал на задворье, в поле. Вошел в избу; со старостой покаля-

кал, наврал ему чертову тьму, улучил минутку и вышел к Матрене. Она, бедняжка, так у меня на шее и повисла. Побледнела, похудела, моя голубушка. Я, знаете ли, говорю ей: «Ничего, Матрена; ничего, не плачь», — а у самого слезы так и бегут и бегут... Ну, однакож, наконец, и мне стыдно стало; говорю ей: «Матрена, слезами горю не пособить, а вот что: надобно действовать, как говорится, решительно; надобно тебе бежать со мной; вот как надобно действовать». Матрена так и обмерла... «Как можно! да я пропаду, да они меня заедят совсем!» — «Глупая ты, кто тебя сыщет?» — «Сыщут, непременно сыщут. Спасибо вам, Петр Петрович, — век не забуду вашей ласки, но уж вы меня теперь предоставьте; уж, видно, такова моя судьба». — «Эх, Матрена, Матрена, а я тебя считал за девку с карахтером. — И точно, карахтеру у ней было много... душа была, золотая душа! — Что ж тебе здесь оставаться! все равно; хуже не будет. Ну, вот скаживай: старостиних кулаков отведывала, а?» Матрена так и вспыхнула, и губы у ней задрожали. «Да из-за меня семье моей житья не будет». — «Ну ее, твою семью... Сошлют ее, что ли?» — «Сошлют; брата-то наверное сошлют». — «А отца?» — «Ну, отца не сошлют; он у нас один хороший портной и есть». — «Ну, вот видишь; а брат твой от этого не пропадет». Поверите ли, насилу уломал ее; вздумала еще толковать о том, что, дескать, вы за это отвечать будете... «Да уж это, — говорю я, — не твое дело...» Однако я-таки ее увез... не в этот раз, а в другой: ночью, на телеге приехал — и увез.

— Увезли?

— Увез... Ну, вот она и поселилась у меня. Домик у меня был небольшой, прислуги мало. Люди мои, без обиняков скажу, меня уважали; не выдали бы ни за какие благополучия. Стал я поживать припеваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вот я к ней и привязался... Да и что за девка была! Откуда что бралось? и петь-то она умела, и плясать, и на гитаре играть... Соседям я ее не показывал, чего доброго, разболтают! А был у меня приятель, друг закадычный, Горностаев Пантелей, — вы не изволите знать? Тот в ней просто души не чаял; как у барыни, руки у ней целовал, право. И скажу вам, Горностаев не мне чета: человек он образованный, всего Пушкина прочел; станет, бывало, с Матреной да со мной разговаривать, так мы и уши развесим. Писать ее выучил, такой чудак! А уж как я одевал ее — просто лучше губернаторши; сшил ей шубку из малинового бархата с меховой опушкой... Уж как эта шубка на ней сидела! Шубку-то эту московская мадам шила по новому манеру, с перехватом. И уж какая чудная эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не шевельнет; и я тоже сижу да на нее смотрю, да насмотреться не могу, словно никогда не видал... Она улыбнется, а у меня сердце так и дрогнет, словно кто пощекотит. А то вдруг примется смеяться, шутить, плясать; обнимет меня так жарко, так крепко, что голова кругом пойдет. С утра до вечера, бывало, только и думаю: чем бы мне ее порадовать? И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа

моя, обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подаю примерять, как ко мне в обновке подойдет и поцелует. Неизвестно о каком образом отец ее Кулик пронюхал дело; пришел старик поглядеть на нас да как заплачет!.. Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали? Мы Кулика задарили. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец вынесла — а он ей как бухнет в ноги — такой чудной! Таким-то мы образом месяцев пять прожили; а я бы не прочь и весь век с ней так прожить, да судьба моя такая окаянная!

Петр Петрович остановился.

— Что ж такое сделалось? — спросил я его с участием.

Он махнул рукой.

— Все к черту пошло. Я же ее и погубил. Матренушка у меня смерть любила кататься в санках, и сама, бывало, правит; наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские да только покрикивает. Катались-то мы всегда вечером, чтобы, знаете, кого-нибудь не встретить. Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, ветра нету... мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулась. Дай, дескать, покуражиться. «А! — подумал я, — была не была!..» Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились, — вот уж и Кукуевскую церковь видно; глядь, ползет по дороге старый зеленый возок и лакей на запятках торчит... Барыня-барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадам да как помчится прямо на возок! Кучер, тот-то вы понимаете, видит: летит навстречу Алхимерэс какой-то, хотя знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось — барыня кричит: «Ай, ай, ай! ай, ай, ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» — А мы, давай бог ноги, мимо. Скачем мы, а я думаю: худо будет, напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? ведь узнала барыня Матрену и меня узнала, старая, да жалобу на меня и подай: беглая, дескать, моя девка у дворянина Каратаева проживает; да тут же и благодарность, как следует, предъявила. Смотрю, едет ко мне исправник; а исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеич Кузовкин, хороший человек, то есть, в сущности человек не хороший. Вот приезжает и говорит: так и так, Петр Петрович, — как же вы это так?.. Я ему говорю: «Ну, об этом мы, разумеется, с вами побеседуем, а вот не хотите ли перекусить с дороги?» Перекусить-то он согласился, но говорит: «Правосудие требует Петр Петрович, сами посудите». — «Оно, конечно, правосудие, — говорю я, — оно конечно... а вот, я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего Лампурдоса?.. А девки Матрены Федоровой у меня не имеется». — «Ну, — говорит

он,— Петр Петрович, девка-то у вас, мы ведь не в Швейцарии живем... а на Лампурдоса поменяться лошадкой можно; можно, пожалуй, его и так взять». Однако на этот раз я его кое-как спровадил. Но старая барыня завозилась пуще прежнего; десяти тысяч, говорит, не пожалею. Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонке,— это я после узнал: оттого-то она так и разозлилась. Чего только эти барыни не придумают!.. Со скуки, должно быть. Плохо мне пришлось: и денег-то я не жалел, и Матрену-то прятал — нет! Затормошили меня, завертели совсем. В долги влез, здоровья лишился... Вот лежу однажды ночью у себя на постеле и думаю: «Господи боже мой, за что терплю? Что ж мне делать, коли я ее разлюбить не могу?.. Ну, не могу, да и только!» Шашть ко мне в комнату Матрена. Я на это время спрятал ее было у себя на хуторе, верстах в двух от своего дома. Я испугался. «Что? аль и там тебя открыли?»—«Нет, Петр Петрович,— говорит она,— никто меня не беспокоит в Бубнове; да долго ли это продолжится? Сердце мое, говорит, надрывается, Петр Петрович; вас мне жаль, моего голубчика; век не забуду ласки вашей, Петр Петрович, а теперь пришла с вами проститься».— «Что ты, сумасшедшая?.. Как проститься? как проститься?»— А так... пойду да себя и выдам».— «Да я тебя, сумасшедшую, на чердак запру... Иль ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что ли?— Молчит себе девка да глядит на пол.— Ну, да говори же, говори!»—«Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». Ну, поди, толкуй с ней... «Да ты знаешь ли, дура, ты знаешь ли, сума... сумасшедшая...»

И Петр Петрович горько зарыдал.

— Ведь что вы думаете?— продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все еще бежали по его разгоряченным щекам,— ведь выдала себя девка, пошла да и выдала себя...

— Лошади готовы-с!— торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату.

Мы оба встали.

— Что же сделалось с Матреной?— спросил я.

Каратаев махнул рукой.

Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную, находящуюся за Охотным рядом — оригинальную московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие святославки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.

— Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?

Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.

— Вот здесь,— говорил он, заботливо усаживая меня в кресла,— здесь вам будет хорошо. Человек, пива! нет, то есть шампанского! Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал... Давно ли? надолго ли? Вот привел бог, как говорится, того...

— Да, помните...

— Как не помнить, как не помнить,— торопливо перерыв меня,— дело прошлое... дело прошлое...

— Ну, что вы здесь поделяваете, любезный Петр Петрович

— Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился.

И он вздохнул и поднял глаза к небу.

— Служите?

— Нет-с, еще не служу, а думаю скоро определиться. Да что служба?.. Люди — вот главное. С какими я здесь людьми познакомился!..

Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе

— Вот и это хороший человек... Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!

Мальчик постоял, прилично потрянул головкой, улыбнулся и вышел.

— Да, хорошие здесь люди,— продолжал Петр Петрович, с чувством, с душой... Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята... Они все вам будут рады. Я скажу... Бобров умер, вот горе

— Какой Бобров?

— Сергей Бобров. Славный был человек; призрел было меня невежу, степняка. И Горностаев Пантелей умер. Все умерли, все

— Вы все время в Москве прожили? Не съездили в деревню?

— В деревню... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукциона... Вот напрасно вы не купили!

— Чем же вы жить будете, Петр Петрович?

— А не умру с голоду, бог даст! денег не будет, друзья будут. Да что деньги?— прах! Золото — прах!

Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони два пятиалтынных и гривенник.

— Что это? Ведь прах! (И деньги полетели на пол.) А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?

— Читал.

— Видали ли Мочалова в Гамлете?

— Нет; не видал.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева побледнело глаза беспокойно забегали; он отвернулся; легкие судороги пробежали по его губам.) Ах, Мочалов, Мочалов! «Окончить жизнь уснуть»,— проговорил он глухим голосом.

Не более! и знать, что этот сон  
Окончит грусть и тысячи ударов,  
Удел живых... Такой конец достоин  
Желаний жарких! Умереть... уснуть...

— Уснуть, уснуть!— пробормотал он несколько раз.

— Скажите, пожалуйста,— начал было я; но он продолжал с жаром:

Кто снес бы бич и посмеянье века,  
Бессилье прав, тиранов притеснение,  
Обиды гордого, забытую любовь,  
Презренных душ презрение к заслугам,  
Когда бы мог нас подарить покоем  
Один удар... О, помяни  
Мои грехи в твоей святой молитве!

И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться.

— «И через месяц!»— произнес он с новой силой:

Один короткий, быстротечный месяц!  
И башмаков еще не износила,  
В которых шла, в слезах,  
За бедным прахом моего отца!  
О небо! Зверь без разума, без слова,  
Грустил бы долее...

Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпил вина продолжал:

Из-за Гекубы?  
Что он Гекубе, что она ему,  
Что плачет он об ней?..  
А я... презренный, малодушный раб,—  
Я трус! Кто назовет меня негодным?  
Кто скажет мне: ты лжешь?  
А я обиду перенес бы... Да!  
Я голубь мужеством: во мне нет желчи,  
И мне обида не горька...

Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял.

— Ну, да что,— проговорил он наконец,— кто старое помянет, тому глаз вон... Не правда ли? (И он засмеялся.) На ваше здоровье!

— Вы останетесь в Москве?— спросил я его.

— Умру в Москве!

— Каратаев!— раздалось в соседней комнате.— Каратаев, де ты? поди сюда, любезный че-а-эк!

— Меня зовут,— проговорил он, тяжело поднимаясь с места.— Прощайте; зайдите ко мне, если можете, я живу в \*\*\*.

Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не видался более с Петром Петровичем Каратаевым.

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце, или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиную рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледнолиловым стволом и серо-зеленой металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или, когда, в ясный ветреный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в



осиновой роше для отдыха, добрался до березового леса, угнездился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам.

Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза — вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направления, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось яркоголубое небо; облака скрылись разогнанные взывавшим ветром, погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущением, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытаться счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я взгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел её тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица; так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась, — лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумело по лесу, — она встрепенулась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, слышались, наконец, решительные, прорывные шаги.

Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданием. Сквозь чашу быстро замелькала фигура мужчины. Она вгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.

Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Принаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавички закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее; беспрестанно шурил свои и без того крошечные молочно-серые глазки, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, — словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидел молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, подернул плечами, за сунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустил на землю

— А что, — начал он, продолжая глядеть куда-то в сторону качая ногою и зевая, — давно ты здесь?

Девушка не могла тотчас ему отвечать.

— Давно-с, Виктор Александрыч, — проговорила она, наконец, едва слышным голосом.

— А! (Он снял картуз, величественно провел рукою по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и, с достоинством посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову.) А я было совсем и позабыл. При том, вишь, дождик! (Он опять зевнул.) Дела пропасть: за всем не усмотришь, а тот еще бранится. Мы завтра едем...

— Завтра? — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор.

— Завтра... Ну, ну, ну, пожалуйста, — подхватил он поспешно и с досадой, увидев, что она затрепетала вся и тихо нахло-

нила голову,— пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу. (И он наморщил свой тупой нос.) А то я сейчас уйду... Что за глупости — хныкать!

— Ну, не буду, не буду,— торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы.— Так вы завтра едете?— прибавила она после небольшого молчания.— Когда-то бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрыч!

— Увидимся, увидимся. Не в будущем году — так после. Барин-то, кажется, в Петербург на службу поступить желает,— продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос,— а может быть, и за границу уедем.

— Вы меня забудете, Виктор Александрыч,— печально промолвила Акулина.

— Нет, отчего же? Я тебя не забуду: только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — не-ет. И он спокойно потянулся и опять зевнул.)

— Не забывайте меня, Виктор Александрыч,— продолжала она умоляющим голосом.— Уж, кажется, я на что вас любила, все, кажется, для вас... Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрыч... Да как же мне отца-то слушаться...

— А что? (Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову.)

— Да как же, Виктор Александрыч, вы сами знаете...

Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.

— Ты, Акулина, девка неглупая,— заговорил он наконец,— потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образования,— стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят.

— Да страшно, Виктор Александрыч.

— И-и, какой вздор, моя любезная: в чем нашла страх! Что это у тебя,— прибавил он, подвинувшись к ней,— цветы?

— Цветы,— уныло отвечала Акулина.— Это я полевой рябинки нарвала,— продолжала она, несколько оживившись,— это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина — душка... А вот это я для вас,— прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой,— хотите?

Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалиясь, как султан, и с великодушным терпением и снисходительностью сносил ее

обожанье. Я, признаюсь, с негодованьем рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась, ластилась к нему, а он... уронил вазильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удерживать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом — стеклышко все вываливалось и падало ему в руку.

— Что это? — спросила, наконец, изумленная Акулина.

— Лорнет, — отвечал он с важностью.

— Для чего?

— А чтоб лучше видеть.

— Покажите-ка.

Виктор поморщился, но дал ей стеклышко.

— Не разбей, смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его к глазу.)

Я ничего не вижу, — невинно проговорила она.

— Да ты глаз-то зажмури, — возразил он голосом недовольного наставника. (Она зажмурила глаз, перед которым держала стеклышко.) — Да не тот, не тот, глупая! Другой! — воскликнул Виктор и, не давши ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет.

Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась.

— Видно, нам не годится, — промолвила она.

— Еще бы!

Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас! — сказала она вдруг.

Виктор вытер лорнет полой и положил его обратно в карман.

— Да, да, — заговорил он наконец, — тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая, — продолжал он, самодовольно улыбнувшись, — но что же делать? Ты сама посуди! нам с барином нельзя же здесь остаться; теперь скоро зима, а в деревне зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманьем, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем, — прибавил он, заворочавшись на земле, — к чему я тебе это все говорю? Ведь ты этого понять не можешь.

— Отчего же, Виктор Александрыч? Я поняла; я все поняла.

— Вишь какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрыч,— проговорила она, не поднимая глаз.

— Прежде?.. прежде! Вишь ты!.. Прежде!— заметил он, как бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако мне пора идти,— проговорил Виктор и уже оперся было на локоть...

— Подождите еще немножко,— умоляющим голосом произнесла Акулина.

— Чего ждать?.. Ведь уж я простился с тобой.

— Подождите,— повторила Акулина.

Виктор опять улегся и принялся пошвыстывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу приходила в волнение: ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись...

— Виктор Александрыч,— заговорила она, наконец, прерывающимся голосом,— вам грешно... вам грешно, Виктор Александрыч, ей-богу!

— Что такое грешно?— спросил он, нахмутив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову.

— Грешно, Виктор Александрыч. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье; хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке...

— Да что я тебе скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Виктор Александрыч. Вот вы едете, и хоть бы словечко... Чем я заслужила?

— Какая же ты странная! что ж я могу?

— Хоть бы словечко...

— Ну, зарядила одно и то же,— промолвил он с досадой и встал.

— Не сердитесь, Виктор Александрыч,— поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Что ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

— Я ничего...ничего не хочу,— отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки,— а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьем.

— Ну, так и есть, пошла плакать,— хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

— Я ничего не хочу,— продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками,— но каково же мне теперь в семье, каково же мне? и что же со мной будет, что станется со мной, горемычной? За немилото выдадут сиротинку... Бедная моя головушка!

— Припевай, припевай,— вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

— А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать я...

Внезапные, надрывающие грудь рыдания не дали ей закончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло, наконец, потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.

Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени.. Я не выдержал и бросился к ней; но едва успела она взглянуть в меня, как откуда взялись силы — она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле.

Я постоял, подняв пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледноясном небе, лучи его тоже разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высохшее жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная стеною в поле, вся дрожала и сверкала мелким сверканьем, четко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на соломинках, всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин. Я остановился... Мне стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, подкрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю — признак осени! Кто-то проехал за обнаженным холмом, громко стуча пустой телегой...

Я вернулся домой; но образ Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня...

## ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г \*\*\*. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определенных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас

же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался... Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных высоких галстухах и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на 'подходивших'); пять или шесть уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбаясь на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрип). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по наружности помещик, стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечноцехового мастера Фирса Клюхина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек, лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался...

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживающий в доме Александра Михайлыча в качестве... мудрено сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на

вопросы профессора. Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаминаторскому столу. «Извольте взять билет»,— с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать»,— замечал дребезжащим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал номер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил, говорят ему: «Хорошо, ступайте» или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына; Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет»,— говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать»,— лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженный его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однакож это странно,— замечает другой экзаминатор,— что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? так так и скажите».— «Позвольте другой билет взять»,— глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте»,— махнув рукой, отвечает главный экзаминатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит, как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он по крайней мере уйдет? как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя, восклицает: «Ну баня! экая задача!»— И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоединился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.



— Не хотите ли,— шепнул он мне вдруг,— я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; черные прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий сладкий — настоящий Сахар Медович — и кривой. Он заранее смеялся островам маленького человечка и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля,— заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку.— Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч,— прибавил он,— вас не укусят. Вот-с,— продолжал он, между тем как смущенный Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот,— вот-с, рекомендую-с; превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таким же успехом... Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностью...

— Ведь этакой,— пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте,— подхватил Лупихин.— Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажут: паралич приключился; так бросьте ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеется,— продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча.— И отчего ему не смеяться?— прибавил он, обращаясь ко мне,— сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит — жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслышал, и все продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала, и письмо мне оставила: любезный, дескать, Петр Петрович, извини; увлеченная страстью; удаляюсь с другом моего сердца... А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный

человек. И, боже мой! наш орат-степняк так правду-матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону... Что нам подле будущего судьи стоять-то...

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слышу здесь за остряка, — сказал он мне в течение разговора, — вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух; оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому человеку по крайней мере ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите... Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегаёт, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — сановное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету, — продолжал он с глубоким вздохом, — холостой обед, — а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите, — воскликнул он вдруг, — идет князь Козельский — вон этот высокий мужчина, с бородой, в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал... и всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволил улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живет; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может... Пойду поклонюсь ему.

И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идет, — промолвил он, вдруг вернувшись ко мне, — видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове, — вон что шапку сгреб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четьреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишен способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идет, — продолжал Лупихин, — штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахара и завод в золотухе... Виноват, не так сказал... ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает, чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать свое дело-то; лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал... Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько привер-

женных домочадцев и усердных гостей... Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин, и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса... И вот вошла, наконец, матка — вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою *а*, произнесенною протяжно и в нос; с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед.

Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком, как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины, — как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту, — как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дреймадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, выпивали рюмку за рюмкой, как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться заздравные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, помянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да, — подхватил сановник, — это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже благодарность заиграла во взоре.) «Ибо молодые люди глупы». (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван, — продолжал он, — двадцатый год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю: «Дурак, послужи сперва...» Ну, отчаянье, слезы... но у меня... того...» (Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами;

помолчал и ведичаво взглянул на своего соседа, генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику.) «И что ж,— заговорил сановник опять,— теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил... Так вот как надобно поступать». Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления... После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную с большим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом... Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели... Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите?— проговорил мой сосед.

— Как видите,— отвечал я.— Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю, сам не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я,— продолжал он после небольшого молчания,— отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете,— заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всем люблю последовательность. «Вот как,— подумал я,— какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться?— заговорил он вдруг довольно громко.

— О чем?  
Меня мой сосед начинал забавлять.  
— Гм... о чем? А вот о чем: я уверен, го вы меня принимаете за дурака.  
— Помилуйте,;— пробормотал я с изумлением.  
— За степняка, за невежу... Сознайтесь...  
— Я вас не имею удовольствия знать,— возразил я.— Почему вы могли заключить...  
— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете... А я совсем не то, что вы думаете...  
— Позвольте...  
— Нет, *вы* позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть; сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягоды; я не степняк, как вы полагаете... Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.  
Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.  
— Вот вы теперь смотрите на меня,— продолжал он, поправив свой колпак,— и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили,— оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди... А отчего все это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился... Скажите правду, ведь вы меня не заметили?  
— Я действительно не имел удовольствия...  
— Ну да, ну да,— перебил он меня,— я это знал.  
Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.  
— А признайтесь-ка,— прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку,— я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?  
— Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю...  
Он на мгновение потупился.  
— Почему я с вами, с вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам

обоим не спится... Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой,— я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив,— поспешно возразил я,— мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать... Тем лучше... Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык: «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня... О боже мой! если б они знали... да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходов, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходы гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь!— воскликнул он.— Я того мнения, что вообще одним оригиналам житье на земле; они одни имеют право жить. *Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre* <sup>1</sup>, сказал кто-то. Видите ли,— прибавил он вполголоса,— как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь,— да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше,— да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики... Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не попал!

— А между тем,— продолжал он после небольшого молчания,— в молодости моей какие возбуждал я ожидания! какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец, смотришь — ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал!— подхватил он, с укоризной качая головой...— Зовут меня оригиналом... на деле-то оказывается что

Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана (*франц.*)

нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я должно быть, и родился-то в подражание другому... Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок,— кто его разберет!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою,— спросил он меня отрывистым голосом,— или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, отражается... Да это сравнение слишком избито... Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в мое положение... Посудите сами, какую, ну какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел... Да помилюйте,— продолжал он, опять переменяв голос, словно оправдываясь и робея,— где же нашему брату изучать то, что еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то,— да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключение мне представьте... Заключение?— Вот тебе, говорят, и заключение: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят... Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна,— взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям... Что прикажете!— молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром, хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако,— прибавил он, подумав немного,— я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых... а во-вторых, я вижу, что мне придется

рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете...  
Ведь вам же хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка... вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданию, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню; рассказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну ноздрю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне, в таких случаях, всегда на него показывала, приговаривая: он бы еще тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка заваливший, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер... И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет... Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот как стукнуло мне шестнадцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филипóвича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчому Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста... Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже тогда во мне замечался. Детство мое несколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и кичиться, под предлогом мечтательной склонности... к чему бишь? — да, к прекрасному... и прочая. В университете я не пошел другой дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие... Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,  
Und schrecklich ist des Tigers Zahn,  
Doch das schrecklichste der Schrecken —  
Das ist der Mensch in seinem Wahn!<sup>1</sup>

---

Опасно разбудить льва, и страшен зуб тигра; но самое ужасное из всех ужасов — это человек в его безумии (нем).



Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau!

Да что ж вы находите ужасного в кружке? — спросил я

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос

— Что я нахожу ужасного?— вскрикнул он.— А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чепуху, лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запустать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой,— да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! Ты не кружок: ты — заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить,— прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру и словно с горы на салазках покатишься... Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут я встречал оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а все природа брала свое; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правиль-

нее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василию Кудряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и за границей, я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их. вот в чем состояла вся разница Жизнь вел я уединенную, словно монах какой снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знания, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одаренными даром слова; яшлся с тупоумными семействами из Пензы и других хлебодородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело абегали ко мне да занимали у меня деньги, благо der Russ<sup>е</sup> верит Странная игра случая занесла меня, наконец, в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледноголубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки все на лбу держал; притом ученейший был человек... И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен, да целых шесть месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало больше так на нее смотрел; но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал ней рядом, упорно глядя на луну, а не то про то вверх Притом она так отлично варила кофе! Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я, наконец, не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вел себя как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живо-

писи и ваянии... Сказать бы мне это просто вслух... нет, как можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески...

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я, наконец, на родину, — продолжал он усталым голосом, — приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня (кто ее произвел на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола, — таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчие нити, — не тут-то было... Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи... Да вот в чем беда: не оригинальный человек. Добросовестность вдруг, извольте видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом-Вражке, и все о том же... Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочем; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком и все в одном направлении... Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось... Да тем-то и плохо, что я опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел, — и удалился к себе в деревню. Кажется, — прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку, — я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее.

— Можете, можете, — возразил я.

— Тем более, — продолжал рассказчик, — что это все вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а, напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе

не ожидаешь, как-то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим, грабителем да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы!

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем,— продолжал он с жаром,— я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что если бы я не имел несчастья ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам,— начал он опять после небольшого молчания,— нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того, чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые; дом их весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подалее, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами, на столе ваза с свежими розами... Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была злая баба, с постоянной хрипотой злобы в

горле, притеснительное и сварливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья, я в Софью влюбился У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их пальня двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергическою подписью, в юности своей возбуждавший несоразмерные ожидания а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отделявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую страстно задумчивую фразу из Бетховена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с веселым треском ломались крендельки ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирикала как будто о чем то спрашивала; из прозрачного легкого облачка мимоходом падали редкие капли. А я сидел и дел слушал слушал глядел сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот под влиянием такого то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил... Да и теперь пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем не можно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забрала к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он, наконец, решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой не частный чиж. Иногда ей самой,

видимо, хотелось востепениться, разыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле; попробует — и свернется в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать,— тьфу, черт возьми! а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть вздохнул бы раза два, да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того ввелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее,— что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам «Не буди ты ее на заре».

— Вот-с таким-то образом-с мы блаженствовали три года на четвертый Софья умерла от первых родов, и — странное дело мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине перед царскими дверями, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шел велились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробы так и чиркали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немного численных мужиков, усердно молившихся за покойницу; тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны. то же болезненное, робкое немое выражение — ей словно и в гробу неловко... Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика раскраснелись щеки и потускнели глаза.

— Отделавшись, наконец,— заговорил он опять,— и тяжелою унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбалчивалась, глаза тоже плохо

действовали; другие кстати подошли причины... я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да во-первых, денег не достало, а во-вторых... я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастью... С другой стороны я давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостью, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора, как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «заушить»; наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун, да еще и взяточник впридачу. Притом же он не отличался ни богатством, ни знатностью. Я высказал свое мнение на его счет и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядел на господина Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильевич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать: где нам?... Знай сверчок свой шесток». — «Да помилуйте, — возразил я с досадой, — какая же разница между мною и господином Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник, — проговорил он, наконец, сквозь слезы, — ведь экую штуку выкинул... а! каков?» — и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой капли только не доставало; чаша перелилась. Я про-

шелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера,— уныло продолжал он, какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведаль нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения,— я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к не навистой мне деревне; ни хозяйство, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово: «жизнь», я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог... Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. словно опьяненный презреньем к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из-за угла какому-нибудь глупейшему говоруно, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели... Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии... Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор...

— Однако это ни на что не похоже,— проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина,— какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс... тс...— прошептал он и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил:— слушаю-с, слушаю-с, извините-с... Ему позволительно спать, ему следует спать,— продолжал он снова шепотом,— ему должно набраться новых сил, ну, хоть бы для того, чтоб с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушку.



— Позвольте по крайней мере узнать,— спросил я,— с кем я имел удовольствие...

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога,— прервал он меня,— не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени... А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите... назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались. Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.

## ЖИВЫЕ МОЩИ

Край родной долготерпенья —  
Край ты русского народа!

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резиновые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листе влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстух и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович,— воскликнул он наконец.— Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливает, ружья осекаются... Тьфу! Задача!

— Что же делать?— спросил я.

— А вот что. Поедьте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевской места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существование которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росой. На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопля.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, Melissa. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и сиплый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла, с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин?— прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ.— Да и где узнать! Я — Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья!— воскликнул я.— Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин, я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам тайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья,— проговорил я наконец,— что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастьем моим,— сядьте вон на кадучечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь, я какая го лосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как о вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко... Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — прорвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая,— продолжала Лукерья,— стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу: все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже ска-

зять не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мною только не делали; железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну, и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однакоже, ужасно, твое положение!— воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил:— А что же Поляков Василий?— Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалеко. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь?— спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет,— были да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намеднись

отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать нечего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, батюшка?» — «Ну, — говорит, а сам смеется, — это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым мысленным грехом не больно грешна, — продолжала Лукерья, — потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят, голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занято! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один дешный охотник из ружья застрелил. И на что покорытился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа-охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю, — поспешил я заметить.

— А то раз, — начала опять Лукерья, — вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго-таки сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь, да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрещит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу?

Он лучше меня знает, что мне надобно. Послал он мне крест — значит меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту отче наш, богородицу, акафист всем скорбящим — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может тебя еще вылечат? Во всяком случае ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приехал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгинал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смиренная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуют; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно!

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повинсовалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам,

например, что скажу! я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а все — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде, чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. «Во лужях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки, опущенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблестали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось... с самого того дня как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я-таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так по крайней мере мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз sny вижу, хорошие sny! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда

во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я, потянуться хочу хорошенько — ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам?— Ну, слушайте.— Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался так вот я себе веночек сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе веночек свить. А между тем я слышу кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, а только он Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернули длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила: теперь наши грехи побег даешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сию я этак будто на большой дороге под ракитой,



палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, все в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьётся, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит, а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу. Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неявственно... После, мол, петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня да и дала мне сткляночку с лекарством против бессоницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та сткляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую сткляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненной смертью за свой народ помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь,— заметил я ей,— это может тебе повредить.

— Правда,— прошептала она едва слышно,— разговорке нашей конец: да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу,— с величайшим усилием, но умиленно произнесла она.— Дай бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас богу помолились... А мне ничего не нужно, всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин,— сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах,— какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрехала... Да... Ну, простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые Мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая,— так заключил десятский,— стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пушай ее!»

---

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничным. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: «с неба».

## СТУЧИТ!

— Что я вам доложу,— промолвил Ермолай, входя ко мне в избу, а я только что пообедал и прилег на походную кровать, чтобы отдохнуть немного после довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревов — дело было в десятых числах июля и жары стояли страшные...— что я вам доложу: у нас вся дробь вышла.

Я вскочил с кровати.

— Вышла дробь! Как же так! Ведь мы с собой из деревни почитай что фунтов тридцать взяли! целый мешок!

— Оно точно; и мешок был большой: на две недели бы хватило. Да кто его знает! Прореха, что ль, в нем произошла, а только как есть нету дробь... так, зарядов на десять осталось.

— Что же мы станем теперь делать? Самые лучшие места впереди — на завтрашний день нам обещали шесть выводов...

— А пошлите меня в Тулу. Тут недалече: всего сорок пять верст. Духом слетаю и дробь привезу, коли прикажите, целый пуд.

— Да когда же ты поедешь?

— А хоть сейчас. Чего мешкать? Только вот что: надо будет лошадей нанять.

— Как лошадей нанять! А свои-то на что?

— На своих ехать нельзя. Коренник захромал... страсть!

— Это с каких пор?

— А вот намердись,— кучер его ковать водил. Ну и заковал. Кузнец, должно, попался неладный. Теперь даже на ногу ступить не может. Передняя нога. Так и несет ее... как собака.

— Что ж? расковали его по крайней мере?

— Нет, не расковали; а непременно расковать его следует... Гвоздь-то ему, чай, в самое мясо вогнат.

Я велел позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгал: коренник действительно не ступал на ногу. Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину.

— Что ж? лошадей нанять в Тулу прикажете?— пристал ко мне Ермолай.

— Да разве можно в этом захолустье найти лошадей?— воскликнул я с невольной досадой...

Деревня, в которой мы находились, была заглазная, глухая; все ее обитатели казались голышами; мы с трудом отыскивали одну — не то что белую, а мало-мальски проторную избу.

— Можно,— ответил Ермолай с обычной своей невозмутимостью.— Вы про здешнюю деревню сказали верно; а только в этом самом месте проживал один крестьянин. Умнеющий! богатый! Девять лошадей имел. Сам-го он помер, и старший сын теперь всем орудует. Человек — из глупых-глупый, ну, однако, отцовское добро протрясти не успел. Мы у него лошадьми раздобудемся. Прикажете, я его приведу. Братя у него, слышно, ребята шустрые... а все-таки он им голова.

— Почему же это так?

— А потому — старшой! Значит, младшие — покоряйся!— Тут Ермолай сильно и непечатно отозвался о младших братьях вообще.— Я его приведу. Он простой. С ним — да не сговориться?

Пока Ермолай ходил за «простым» человеком, мне пришлось в голову: не лучше ли мне самому съездить в Тулу? Во-первых, я, наученный опытом, плохо надеялся на Ермолая; я послал его однажды в город за покупками, он обещался исполнить все мои поручения в течение одного дня — и пропадал целую неделю,

пропил все деньги и вернулся пешком, — а поехал на беговых дрожках. Во-вторых, у меня был в Туле барышник знакомый; я мог купить у него лошадь на место охромевшего коренника.

«Решенное дело! — подумал я. — Съезжу сам; а спать можно и в дороге — благо тарантас покойный».

---

— Привел! — воскликнул четверть часа спустя Ермолай, вваливаясь в избу. Вслед за ним вошел рослый мужик в белой рубашке, синих портах и лаптях, белобрысый, подслеповатый, с рыжей бородкой клинушкой, длинным пухлым носом и разинутым ртом. Он точно смотрел «простецом».

— Вот извольте, — промолвил Ермолай, — лошади у него есть, и он согласен.

— То ись, значит, я... — заговорил мужик сиповатым голосом и с запинкой, встряхивая свои жидкие волосы и перебирая пальцами околыш шапки, которую держал в руках. — Я, значит...

— Как тебя зовут? — спросил я.

Мужик потупился и словно задумался.

— Как меня зовут-то?

— Да; как твое имя?

— А имя мне будет — Филофей.

— Ну, вот что, братец Филофей; у тебя, я слышал, есть лошади. Приведи-ка сюда тройку, мы их заложим в мой тарантас, — он у меня легкий, — и свези ты меня в Тулу. Теперь ночь лунная, светло и ехать прохладно. Дорога у вас тут какова?

— Дорога? Дорога — ничего. До большака верст двадцать будет — всего. Одно есть местечко... неладное; а то ничего.

— Какое такое местечко неладное?

— А речку вброд переезжать надоть.

— Да разве вы сами в Тулу поедете? — осведомился Ермолай.

— Да, сам.

— Ну! — промолвил мой верный слуга и тряхнул головою. — Н-н-у! — повторил он, сплюнул и вышел вон.

Поездка в Тулу, очевидно, уже не представляла ему ничего привлекательного; она стала для него пустым и незанимательным делом.

— Ты дорогу хорошо знаешь? — обратился я к Филофею.

— Как нам дороги не знать! Только я, значит, воля ваша, не могу... потому как же этак вдруг...

Оказалось, что Ермолай, нанимая Филофея, заявил ему, чтобы он не сомневался, что ему, дураку, заплатят... и только! Филофей, хотя и дурак, по словам Ермолая, — не удовлетворился одним этим заявлением. Он запросил с меня пятьдесят рублей ассигнациями — цену громадную; я предложил ему десять рублей — цену низкую. Принялись мы торговаться; Филофей сперва упорствовал, потом стал сдаваться, но туго. Вошедший на минутку Ермолай начал меня уверять, что «этот дурак (вишь, полюбилося слово! —

заметил вполголоса Филофей), этот дурак совсем счету деньгам не знает», — и кстати напомнил мне, как лет двадцать тому назад постоянный двор, устроенный моей матушкой на бойком месте, на перекрестке двух больших дорог, пришел в совершенный упадок оттого, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам, а ценил их по количеству — то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных пятаков, причем, однако, сильно ругался.

— Эх ты, Филофей, прямой Филофей! — выкликнул, наконец, Ермолай и, уходя, всердцах хлопнул дверью.

Филофей ничего ему не возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем точно не совсем ловко и что за такое имя даже упрекать можно человека, хотя, собственно виноват тут поп, которого при крещении не ублажили как следует.

Наконец мы, однако, сошлись с ним на двадцати рублях. Он отправился за лошадьми и чрез час привел их целых пять на выбор. Лошади оказались порядочные, хотя гривы и хвосты у них были спутанные и животы — большие, растянутые, как барабан. С Филофеем пришло двое его братьев, нисколько на него не похожих. Маленькие, черноглазые, востроносые, они — точно — производили впечатление ребят «шустрых», говорили много и скоро — «лопотали», как выразился Ермолай, но старшóму покорялись.

Они выкатили тарантас из-под навеса да часа полтора возились с ним и с лошадьми; то отпускали веревочные постромки, то прикручивали их туго-натуго! Обоим братьям непременно хотелось запрячь в корень «чалога», потому «ён с горы спущать могит»; но Филофей решил: кудластого! Так кудластого и заложили в корень.

Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут с хромого коренника — в случае, если бы пришлось пригонять его в Туле на новокупленную лошадь... Филофей, успевший сбегать домой и возвратившийся оттуда в длинном белом отцовском балахоне, высоком гречневике и смазных сапогах, взобрался торжественно на козла. Я сел, посмотрев на часы: четверть одиннадцатого. Ермолай даже не протерся со мною, он принялся бить своего Валетку; Филофей задергал вожжами, закричал тонким-тонким голосом: «Эх вы, махонькие!» — братья его подскочили с обеих сторон, подстегнули под брюхо пристяжных — и тарантас тронулся, свернул из ворот на улицу; кудластый хотел было махнуть к себе на двор, но Филофей образумил его несколькими ударами кнута — и вот мы уже выскочили из деревни и покатали по довольно ровной дороге, между сплошными кустами густого орешника.

Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер то прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет; на небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка; месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене и уже вздремнул было... да вспомнил о «неладном месте» и встрепенулся.

— А что, Филофей? До брода далеко?

— До броду-то? Верст восемь будет.

«Восемь верст,— подумалось мне.— Раньше часу не доедем. Соснуть пока можно».

Гы, Филофей, дорогу хорошо знаешь?— спросил я опять.

Да как *ее* не знать-то, дорогу-то? Не впервой едем...

Он еще что-то прибавил, но я уже не расслушал его... Я спал

---

Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это часто случается, а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под самым моим ухом. Я поднял голову

Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по-прежнему, а вокруг тарантаса — и на поляршина, не более, от его края — водная гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой, четкой рябью. Я — глядь вперед: на козлах, понутив голову, согнув спину, сидит, как истукан, Филофей, а еще подалее — над журчащею водою — кривая линия дуги и лошадиные головы и спины. И все так неподвижно, так бесшумно, словно в заколдованном царстве, во сне, в сказочном сне... Что за притча? Я — глядь назад из-под балчука тарантаса... Да мы на самой середине реки... берег от нас шагов за тридцать!

— Филофей!— воскликнул я.

— Чего?— возразил он.

— Как чего? Помилуй! Где же это мы?

В реке

Я вижу, что в реке. Да мы этак сейчас потонем. Гак-то ты вброд переезжаешь? А? Даты спишь, Филофей! Отвечай же!

— Маленечко ошибся,— промолвил мой возница,— в сторону, знать, взял грешным делом, а теперь подождать надоть.

— Как ждать *надоть*? Чего же мы будем ждать?

— А вот пушай кудластый оглядится: куда он ворохнется, туда, значит, и ехать надоть.

Я приподнялся на сене. Голова коренника не шевелилась над водою. Только и можно было видеть, при ясном свете месяца, как одно его ухо чуть-чуть двигалось то взад, то вперед.

— Да он тоже спит, твой кудластый!

— Нет,— отвечал Филофей,— он теперь воду нюхает.

И все опять замолкло, только по-прежнему слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел.

Лунный свет, да ночь, да река, да мы в ней...

— Это что такое сипит?— спросил я Филофея.

— Это? Утята в камыше.. а не то змеи.

Вдруг голова коренника замоталась, уши наострились, он зафыркал, заворошил.

— Но-но-но-ноо!— внезапно заорал во все горло Филофей, и приподнялся, и замахал кнутом. Тарантас тотчас сдернуло с мес-

бряцанье бубенчиков и даже топот конских ног; даже пень и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомнения в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может и на две стали к нам ближе.

Мы с Филофеем переглянулись — он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и тотчас же, нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побежали рысью. Филофеем продолжал стегать их. Надо ж было уходить!

Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди... Ничего нового не услышал я: те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам... Но я теперь уже не сомневался. Филофеем не мог ошибиться!

И вот опять прошло минут двадцать... В течение последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот...

— Остановись, Филофей,— сказал я,— все равно — один конец!

Филофеем трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть.

Батюшки! бубенцы просто режут за самой нашей спиной, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю...

Нагнали!

— Би-и-да,— с расстановкой, вполголоса, промолвил Филофеем и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновение что-то вдруг словно сорвалось, рывнуло, ухнуло — и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу.

— Самая разбойничья повадка,— прошептал Филофеем.

Признаться, у меня на сердце захолонуло... Принялся я глядеть с напряженьем в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку; у двоих на головах не было шапок; большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали, зря... тела тряслись... Явное дело: пьяный народ. Иные горланили — так, что ни попало; один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучке сидел какой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания.

Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом... поневоле.

С четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное... Спасаться, защищаться... где уж тут! Их шестеро, а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назад? но они тотчас

догонят. Вспомнился мне стих Жуковского (там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского):

Топор разбойника презренный...

А не то — горло сдавят грязной веревкой... да в канаву... хрипи там да бейся, как заяц в силке...

Эх, скверно!

А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания.

— Филофей,— шепнул я,— попробуй-ка, возьми правее, ступай будто мимо.

Филофей попробовал — взял вправо... но те тотчас тоже взяли вправо... проехать стало невозможно.

Филофей попытался еще: взял налево... Но и тут ему не дали миновать телегу. Даже засмеялись. Значит, не пропускают.

— Как есть разбойники,— шепнул мне Филофей через плечо.

— Да чего же они ждут?— спросил я тоже шепотом.

— А вон там впереди — в ложбине, над ручьем, мостик... Они нас там! Они всегда этак... возле мостов. Наше дело, барин, чисто! — прибавил он со вздохом, — вряд ли живых отпустят; потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка, и братьям-то она не достанется.

Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться, да, признаюсь, мне самому было не до него... «Неужто же убьют?— твердил я мысленно. — За что? Ведь я им все отдам, что у меня есть».

А мостик все приближался, все становился видней да видней.

Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась как вкопанная немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало.

— Ох, брат Филофей,— промолвил я,— едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил.

— Какая твоя вина, барин! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудластый, лошадушка моя верная,— обратился Филофей к кореннику,— ступай, брат, вперед! Сослужи последнюю службу! Все едино... Господи бо-слови!

И он пустил свою тройку рысцей.

Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной, грозной телеге... На ней, как нарочно, все затихло. Ни гу-гу! Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поровнялись мы с телегой... вдруг великан в полушубке прыг с нее долой — и прямо к нам!

Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи... Тарантас остановился.

Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и ослабься, произнес тихим, ровным голосом и фабричным говорком следующее:

— Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки; нашего молодца, значит, женили; как есть уложили; ребята у



нас всё молодые, головы удалые — выпито было много, а опохмелиться нечем; то не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам деньжонок самую чуточку,— так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство; а не будет вашей к нам милости — ну, просим не осерчать!

«Что это такое?— подумалось мне...— Насмешка?.. Глумление?»

Великан продолжал стоять, понутив голову. В самый этот миг месяца выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо — и глазами и губами. А угрозы на нем не видать... только словно все оно насторожилось... и зубы такие белые да большие...

— Я с удовольствием... возьмите...— поспешно проговорил я и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда два целковых; в то время серебряные деньги еще водились на Руси.— Вот, коли этого довольно.

— Много благодарны!— гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня — не весь кошелек, а только те два рубля.— Много благодарны!— Он встряхнул волосами, подбежал к телеге.

— Ребята!— крикнул он,— два целковых жалует нам господин проезжий!— Те все вдруг как загогочут... Великан взвалился на облучок...

— Счастливо оставаться!

И только мы их и видели! Лошади подхватили, телега загремела в гору, вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала.

Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слышать...

Стала тишина мертвая.

---

Мы с Филофеем не вдруг опомнились.

— Ах ты, шут этакой!— промолвил он, наконец, и, сняв шляпу, начал креститься.— Право, шут,— прибавил он и обернулся ко мне, весь радостный.— А хороший должен быть человек, право. Но-но-но, махонькие! Поворачивайтесь! Целы будете! Все целы будем! Ведь это он проехать не давал; он лошадьми-то правил. Экой шут парень! Но-но-но-ноо! с бо-гáм!

Я молчал, но и у меня хорошо стало на душе. «Целы будем!— повторил я про себя и разлегся на сене.— Дешево отделались!»

Мне даже несколько совестно стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил.

Вдруг пришла мне в голову мысль:

— Филофей!

— Чего?

— Ты женат?

— Женат!

— И дети есть?

— Есть и дети.

— Как же ты об них не вспомнил? О лошадях пожалел, а о жене, о детях?

— Да чего их жалеть-то? Ведь вора́м в руки они бы не попались. А в уме я их все время держал, и теперь держу... во как.— Филофей помолчал.— Может... из-за них господь бог нас с тобой помиловал.

— Да коли то не были разбойники?

— А почем знать? В чужую душу разве влезешь? Чужая душа — известно — потемки. А с богом-то завсегда лучше. Не... я свою семью завсегда... Но-но-но, махонькие, с бо-га́м!

Уже почти рассвело, когда мы стали подъезжать к Туле. Я лежал в забытьи полусна...

— Барин,— сказал мне вдруг Филофей,— посмотрите-ка; вон они стоят у кабака... ихняя телега-то.

Я поднял голову... точно, они: и телега их, и лошади. На пороге питей о заведении внезапно показался знакомый великан в полушубке.

— Господин!— воскликнул он, помахивая шапкой,— ваши денежки пропиваем! А что, кучер,— прибавил он, качнув головой на Филофея,— чай, заробел этта-ась?

— Превеселый человек,— заметил Филофей, отъехавши сажен на двадцать от кабака.

Прибыли мы, наконец, в Тулу; купил я дрови, да кстати чаю да вина, и даже лошадь у барышника взял. В полдень мы отправились обратно. Проезжая тем местом, где в первый раз мы услышали за собою стук телеги, Филофей, который, подвыпив в Туле, оказался весьма разговорчивым человеком,— он мне даже сказки рассказывал,— проезжая тем местом, Филофей вдруг засмеялся.

— А помнишь, барин, как я тебе все говорил: стучит... стучит, мол, стучит!

Он несколько раз повел рукою наотмашь... Очень уж ему это слово казалось забавным.

В тот же вечер мы вернулись в его деревню.

Я сообщил бывший с нами случай Ермолаю. Будучи трезвым, он не высказал никакого сочувствия и только хмыкнул — одобрительно или укоризненно,— этого, я полагаю, он сам не ведал. Но дня два спустя он с удовольствием известил меня, что в ту самую ночь, когда мы с Филофеем ездили в Тулу, и на той же самой дороге какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не поверил этому известию, но потом пришлось поверить: справедливость его мне подтвердил проскакавший на следствие становой. Уж не с этой ли «свадьбы» возвращались наши удальцы и не этого ли «молодца» они, по выражению шутника-великана, уложили? Я в деревне Филофея оставался еще дней пять. Бывало, как только встречу его, всякий раз говорю ему: «А? стучит?»

— Веселый человек,— ответит он мне всякий раз и сам засмеется.

...И понемногу начало назад  
 Его тянуть: в деревню, в темный сад,  
 Где липы так огромны, так тенисты,  
 И ландыши так девственно душисты,  
 Где круглые ракиты над водой  
 С плотины наклонились чередой,  
 Где тучный дуб растет над тучной нивой,  
 Где пахнет конопелью да крапивой...  
 Туда, туда, в раздольные поля,  
 Где бархатом чернеется земля,  
 Где рожь, куда не киньте вы глазами,  
 Струится тихо мягкими волнами,  
 И падает тяжелый желтый луч  
 Из-за прозрачных, белых, круглых туч;  
 Там хорошо . . . . .

*(Из поэмы, преданной сожжению.)*

Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, *fur sich*, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу и свободу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымитесь. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлетя. Лошади звучно шлепают ногами по лужам; кучер пошвыстывает. Но вот вы отъехали версты четыре... край неба алеет; в березах просыпаются, неловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая

с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к нам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синея сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком выются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как быстро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашк»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздается за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колющим зноем пышет неподвижный воздух

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевелиться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее... Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила

полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синее небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглой. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, бегом идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснее... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот, наконец, и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью; он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес гложет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо... Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурю листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши; их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья дерев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается

легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья, — когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку польны на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редящий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять все заволочлось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет, наконец, восторжествует и последние волны согретога тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в глубокой нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъездное поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещицья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными работами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места.

Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы, распахан-ные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; зарос-шие кустами овраги выются между ними; продолговатыми остро-вами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дэм со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы все мельче и мельче, деревья почти не видать. Вот она, наконец, — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, ды-шать морозным острым воздухом, невольно шуриться от ослепи-тельного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом олнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако — пора кончить. Кстати — заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

(1847—1874)

## СОДЕРЖАНИЕ

Хорь и Калиныч	5
Ермолай и Мельничиха	14
Малиновая вода	22
Уездный лекарь	29
Льгов . . . . .	35
Бежин луг . . . . .	44
Касьян с Красивой Мечи	59
Бурмистр . . . . .	73
Контора . . . . .	83
Бирюк . . . . .	96
Два помещика . . . . .	02
Смерть . . . . .	108
Певцы . . . . .	11
Петр Петрович Каратаев	130
Свидание . . . . .	141
Гамлет Щигровского уезда	4
Живые мощи . . . . .	66
Стучит! . . . . .	5
Лес и степь . . . . .	86



Иван Сергеевич Тургенев

**ЗАПИСКИ ОХОТНИКА**

(в сокращении)

Ответ. за выпуск *Н. Х. Никипорец, Д. К. Батраков*

Художник *Л. И. Матвеев*

Худож. редактор *К. Т. Бекенов*

Тех. редактор *А. М. Бабина, Г. И. Беликова*

Корректор *М. А. Джусупова*

ИБ № 3345

30Т.

Сдано в набор 20.02.86. Подписано к печати 31.07.86.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага типографская № 2. Гарнитура Тип Таймс. Высокая печать. Усл. п. л. 12,0.

Усл. кр.-отт. 12,25. Уч.-изд. л. 13,65. Тираж 100 000 экз.

Заказ № 338. Цена 60 коп.

Издательство «Мектеп» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93